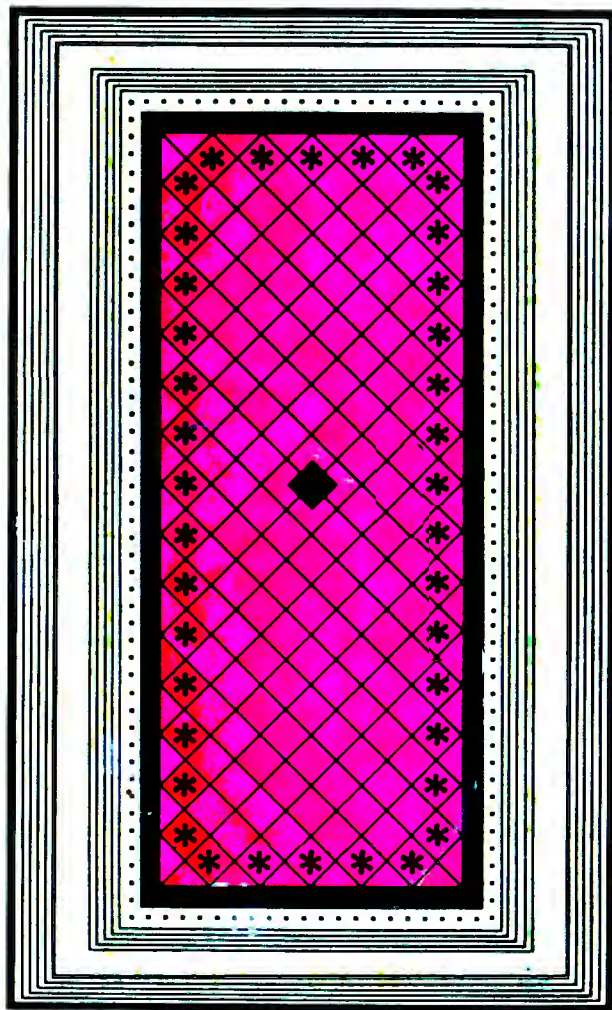


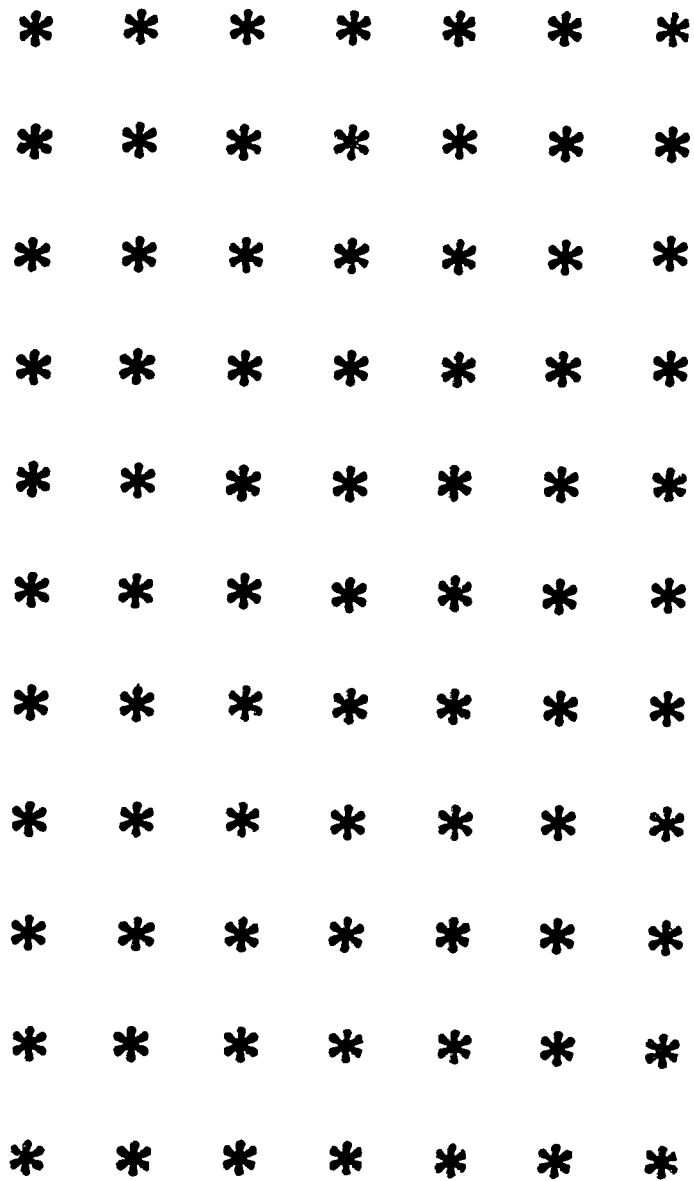
* ПОЛЬСКАЯ ЛИРИКА *
в переводах русских поэтов



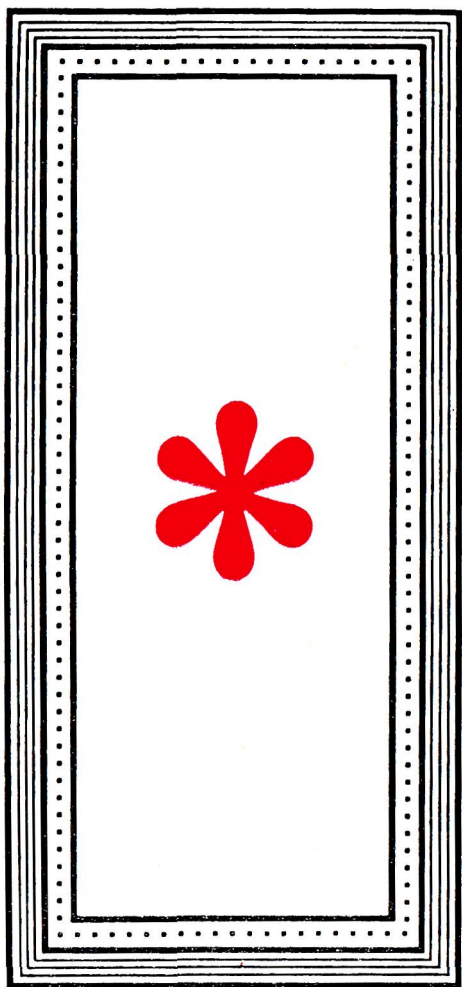
- | | |
|---------------------|------------------|
| И. И. ДМИТРИЕВ | Я. КОХАНОВСКИЙ |
| И. И. КОЗЛОВ | И. КРАСИЦКИЙ |
| П. А. ВЯЗЕМСКИЙ | С. ТРЕМБЕЦКИЙ |
| К. Ф. РЫЛЕЕВ | Т. К. ВЕНГЕРСКИЙ |
| А. С. ПУШКИН | Ю. У. НЕМЦЕВИЧ |
| В. Г. БЕНЕДИКТОВ | А. МИЦКЕВИЧ |
| К. К. ПАВЛОВА | А. ХОДЗЬКО |
| М. Ю. ЛЕРМОНТОВ | Ю. Б. ЗАЛЕСКИЙ |
| А. А. ФЕТ | С. ВИТВИЦКИЙ |
| А. Н. МАЙКОВ | А. Э. ОДЫНЕЦ |
| А. А. ГРИГОРЬЕВ | Ю. СЛОВАЦКИЙ |
| Л. А. МЕЙ | З. КРАСИНСКИЙ |
| А. Н. ПЛЕЩЕЕВ | Ц. НОРВИД |
| М. Л. МИХАЙЛОВ | Т. ЛЕНАРТОВИЧ |
| Л. Н. ТРЕФОЛЕВ | В. СЫРОКОМЛЯ |
| В. Г. КОРОЛЕНКО | М. РОМАНОВСКИЙ |
| С. Я. НАДСОН | А. АСНЫК |
| А. П. КОЛТОНОВСКИЙ | М. КОНОПНИЦКАЯ |
| К. Д. БАЛЬМОНТ | В. СВЕЩИЦКИЙ |
| И. А. БУНИН | Б. ЧЕРВЕНСКИЙ |
| В. Я. БРЮСОВ | Я. КАСПРОВИЧ |
| Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ | Б. ЛЕСЬМЯН |
| С. М. ГОРОДЕЦКИЙ | Л. СТАФФ |
| С. Я. МАРШАК | Ю. ТУВИМ |
| Н. Н. АСЕЕВ | Я. ИВАШКЕВИЧ |
| А. А. АХМАТОВА | К. ИЛЛАКОВИЧ |
| Б. Л. ПАСТЕРНАК | М. ПАВЛИКОВСКАЯ- |
| М. А. ЗЕНКЕВИЧ | ЯСНОЖЕВСКАЯ |
| М. И. ЦВЕТАЕВА | В. БРОНЕВСКИЙ |
| Э. Г. БАГРИЦКИЙ | В. ВАНДУРСКИЙ |
| Н. С. ТИХОНОВ | С. Р. СТАНДЕ |
| П. Г. АНТОКОЛЬСКИЙ | А. КОЗЯРСКИЙ |
| И. Л. СЕЛЬВИНСКИЙ | (Б. ЖИРАНИК) |
| А. А. СУРКОВ | Б. ЯСЕНСКИЙ |
| М. В. ИСАКОВСКИЙ | М. ЯСТРУН |
| В. А. ЛУГОВСКОЙ | Я. ЕЖЕХВА |
| М. С. ГОЛОДНЫЙ | Ю. ПШИБОВСЬ |
| М. А. СВЕТЛОВ | Ю. ЧЕХОВИЧ |
| Е. А. БЛАГИНИНА | К. И. ГАЛЧИНСКИЙ |
| Л. Н. МАРТЫНОВ | С. Р. ДОВОЛЬСКИЙ |
| С. И. КИРСАНОВ | Л. ШЕНВАЛЬД |
| Д. Б. КЕДРИН | Т. РУЖЕВИЧ |
| М. С. ПЕТРОВЫХ | З. ГЕРВЕРТ |
| С. В. МИХАЛКОВ | В. ШИМБОРСКАЯ |
| К. М. СИМОНОВ | С. ГРОХОВЯК |
| Б. А. СЛУЦКИЙ | |
| Д. С. САМОЙЛОВ | |
| Б. Ш. ОКУДЖАВА | |
| Е. М. ВИНУКОВ | |
| В. Н. КОРНИЛОВ | |
| Б. А. АХМАДУЛИНА | |

ПОЛЬСКАЯ ЛИРИКА

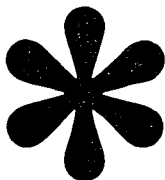
ПОЛЬСКАЯ ЛИРИКА







ПОЛЬСКАЯ ЛИРИКА
в переводах
русских поэтов



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1969

И (Пол)
II 53

Составление
Б. СЛУЦКОГО и Б. СТАХЕЕВА

Вступительная статья
Б. СЛУЦКОГО

Примечания
Б. СТАХЕЕВА

Оформление художника
Г. КЛОДТА

7—4—4
171—69



ЧТО ИСКАЛИ В ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ РУССКИЕ ПОЭТЫ

Эта книга — попытка собрать под одной крышей, под одним переплетом лучшие переводы польской поэзии, сделанные русскими поэтами. Для начала мы ограничиваемся произведениями лирической поэзии, почти напроочь отбрасывая поэзию эпическую и драматическую. Достижения Л. Мартынова, переведшего многое из «Дзядов» А. Мицкевича и поэмы Ю. Словацкого, достижения Б. Пастернака, блестяще переведшего «Марию Стюарт», драму того же Словацкого, а если обращаться к былым временам — огромная работа Бенедиктова — все это общеизвестно. Однако объем книги вынуждает нас к избирательности. С другой стороны, мы не включаем в книгу переводы профессионалов, не составивших себе значительного имени в русской оригинальной поэзии, хотя многие из этих переводов превосходны. Единственное исключение — переведенное Колтоновским стихотворение «Как король шел на войну...», обошедшее все хрестома-

тии, долго бытовавшее в репертуаре чтецов и декламаторов, иными словами, ставшее фактом русской лирической поэзии.

Итак, в этой книге собраны польские лирические стихотворения, ставшие фактами русской лирики.

Естественно, очень большое, бесспорно, первое, место уделено Адаму Мицкевичу.

Чем потряс (иного определения, пожалуй, не подберешь) Мицкевич русских поэтов и русское общество? Почему из многих польских талантов был отобран и усвоен нашей национальной культурой именно автор «Пана Тадеуша», а об авторе «Беневского» Ю. Словацком долгое время слыхом не слыхали в широких читательских кругах?

Ответ, наверное, следует искать в сочетании многих причин.

Первая и главная. У Мицкевича и у Рылеева, которого он по-братски сжимал в объятиях, у Мицкевича и у Бестужева, который ему по-братски протягивал руку, у Мицкевича и у молодого Пушкина, молодого Вяземского, у всей молодой России, был общий враг — царизм. В стихах Мицкевича искали и находили гимны героям и жертвам борьбы с царизмом. Кроме того, он сам был жертвой царизма.

Второе. Мицкевича не только переводили. О нем писали. Он стал не только объектом усилий переводчиков, но и героем стихов, рассказов, дневниковых записей, писем, мемуаров. Написанное о Мицкевиче его русскими современниками могло бы составить большую книгу, куда бы вошло не только знаменитое стихотворение Пушкина («Он между нами жил...»), но и отповедь Пушкину, вписанная Вяземским в его «Старую записную книжку», но и любов-

ный цикл Каролины Павловой, обращенный к польскому поэту, стихи Баратынского и многое другое.

Третье. Мицкевич был понятен. Не только языком, хотя молодые офицеры, много лет проведенные в гарнизонах, расположенных на западной окраине империи, молодые чиновники, много лет служившие в администрации Царства Польского, могли объясняться по-польски. Капитан Рыков из «Пана Тадеуша» понимал по-польски. Но по-польски понимал и князь Вяземский — отнюдь не литературный персонаж, а живое лицо, и многие другие живые лица. Для перевода «Одиссеи» Жуковскому пришлось воспользоваться немецким переводом Фосса. Пушкин, Рылеев и Дмитриев, Вяземский и Огарев, переводя Мицкевича или Немцевича, знали звучание оригинала. Польский язык был на слуху. Но дело, конечно, не только в языке. Мицкевич был понятен кругом тем, идей, образов.

Проблемы Польши и польский вопрос входили в ежедневные споры и в расчеты больших штабов, и в передовые газеты. О Польше думали все думающие люди России. И не только думали, но и действовали. От русского офицера Потебни, павшего «за нашу и вашу свободу» под польским знаменем, от русского писателя Герцена, написавшего эти слова на своем знамени, от декабристов Муравьевых, томившихся вместе с поляками в Сибири, до генерала Муравьева, получившего кличку «вешателя» за жестокую расправу с польскими повстанцами, — дистанция громадного размера. На этой дистанции верстовыми столбами стоят тысячи мнений и тысячи действий русских мыслителей и деятелей.

Мы знаем «Былое и думы» Герцена и лесковское «Некуда», знаем мнение Толстого о польской рево-

люционности и страницы «Братьев Карамазовых» Достоевского. Впрочем, не следует забывать, что один из журналов Достоевского был закрыт цензурой именно за статью о Польше.

Начиная с Гоголя и вплоть до Бунина, начиная с лермонтовской «Литвинки», вплоть до огромного образа непокоренной Варшавы в «Возмездии» Блока, поляки прошли через всю русскую классическую литературу.

Крупнейшие русские историки, и Соловьев, и Костомаров, посвящали польской истории капитальные исследования.

Русские революционеры от «Общества соединенных славян» до большевиков добивались свободы не только для своего народа, но и для поляков.

И вот Мицкевич был первым польским поэтом, которого увидела и услышала вся читающая Россия. Увидела, услышала и приняла в свое сердце. Князя Чарторыйские искали решения польского вопроса в прошлом России — в Зимнем дворце. Мицкевич понял, что это решение в России будущего.

Можно было бы сказать и об иных причинах популярности Мицкевича.

Он был первым гениальным импровизатором, которого слышали в обеих столицах, первым и, пожалуй, последним. Импровизация не привилась в нашей поэзии. Но как она интересовала и поэтов и читателей! Достаточно вспомнить «Египетские ночи» Пушкина.

Он был мастером большой поэтической формы, и поиски его шли параллельно поискам Пушкина и Лермонтова.

Он — первым из великих поэтов мира заговорил

о русской литературе, как о неотъемлемой части славянских литератур и всемирной литературы вообще.

Он участвовал в поэтическом открытии Крыма и т. д. и т. п.

Враг царя, друг декабристов, величайший поэт братского народа, кумир петербургских салонов, предмет полувековых споров, литературных и политических, Мицкевич, естественно, занимает в нашей книге большое место. Его переводили и переводят больше, чем кого-либо из польских поэтов.

Второй цикл усиленного интереса русских поэтов к польской поэзии связан главным образом с революционно-демократическим движением второй половины XIX века.

Третья часть «Дзядов» посвящена Мицкевичем, как известно, «Незабвенным Яну Соболевскому, Циприану Дашкевичу, Феликсу Кулаковскому — товарищам по учению, по заключению, по изгнанию, подвергавшимся преследованию за любовь к родине, умершим от тоски по родине в Архангельске, в Москве, в Петербурге, мученикам народного дела...».

Когда к Архангельску прибавилась Сибирь, когда польские мученики встретились в рудниках с русскими мучениками, когда Бакунин и Огарев приняли непосредственное участие в подготовке восстания 1863 года, русские революционные поэты, естественно, обратились к своим польским товарищам.

Одни, как Некрасов, нашли свои собственные слова для выражения братской любви к Польше. Другие, как Михайлов, или Трефолев, или Пальмин, заставили заговорить по-русски Владислава Сырокомлю и многих других. Третьи — Василий Курочкин — «в блистательном стихотворном памфлете развенчали офи-

циальную полонистику, высмеяли поэтов, подобных Бергу, пытавшихся совместить усмирительскую деятельность с посредственными переводами из Мицкевича по вечерам, в свободное время. Этот период не дал вершин, подобных тем, которые были достигнуты поэтами пушкинского круга. Но в русской поэзии навсегда останутся и прекрасные переводы Трефолева, сделавшего стихи Сырокомли безымянными русскими народными песнями, и переводы Фета, рискнувшего соревноваться с Пушкиным в переводе «Дозора» Мицкевича, и хотя потерпевшего поражение, но достаточно почетное.

Не следует забывать и о том поляке, который вошел в историю русской революции как один из основателей большевистской партии, в историю нашей промышленности — как автор плана электрификации, а в историю поэзии — как автор русского текста «Варшавянки». Я говорю о Глебе Максимилиановиче Кржижановском.

Не прошли мимо Польши и ее литературы и мастера начала XX века, хотя в польской поэзии они искали иного, чем Герцен и Трефолев или Кржижановский. Польские прозаики издавались массовыми тиражами в огромном диапазоне от Ожешко и Сенкевича до Реймонта и Пшибышевского. Следует упомянуть и о заслугах Бальмонта, пусть торопливо и неточно, но познакомившего наших читателей со Словацким. Польская тема — одна из важных тем и у Блока и у Цветаевой. Однако у тех мастеров, которые много и успешно работали в области поэтического перевода — у Иннокентия Анненского, Брюсова, Сологуба, Волошина, — внимание было поглощено французской поэзией, на что были свои причины.

Октябрьская эпоха знаменуется взаимообменом обеих поэзий — русской и польской. С именами В. Броневского, Ю. Тувима, Б. Ясенского в русскую поэзию вошла польская демократическая лирика XX века.

Уже в первые годы Советской власти мы обнаружили, что крупнейшие мастера польской поэзии борются с культурной политикой санации. Владимир Маяковский в блестящих очерках рассказал о Броневском и Тувиме. Он не переводил их стихи. Он, вообще говоря, никого и никогда не переводил. Но он пересказал их стихи, громогласно и дружелюбно назвал эти два имени, которые надолго привлекли внимание наших переводчиков и читателей. Стихотворения и статьи Маяковского так же, как стихотворения Тихонова, так же, как первые стихотворные переводы С. Кирсанова, М. Живова, Н. Асеева, подготовили переводческий взрыв последних десятилетий.

В обеих поэзиях крупнейшие мастера работают над стихотворными переводами. Для советских людей было важно сознавать, что есенинского «Пугачева» переводит Броневский, что Маяковского и Блока переводит Тувим. Эти факты зачеркивали и отрицали официальную культурную политику санации в панской Польше в межвоенное двадцатилетие. Наш народ и его поэты понимали, что голосом Польши говорят великие польские поэты, а отнюдь не невеликие польские правители.

Послевоенная четверть века — новый, я бы сказал, качественно новый, период в истории нашей полонистики.

Советская Россия (и другие народы нашей страны) строит свои отношения с народной Польшей на новых, неслыханных доселе основаниях братской дружбы. Современные советские поэты впервые в истории русской поэзии замыслили и успешно осуществляют перевод всего ценного и важного, что было создано в Польше от Кохановского до Ружевича и Шимборской.

После Великой Отечественной войны лучшие наши поэты заново перевели Мицкевича. Вышли однотомное, двухтомное, наконец пятитомное издания польского классика. Вслед за этим появились издания Ю. Словацкого, М. Конопницкой, В. Броневского и Ю. Тувима. Норвид, Лесьмян — имена доселе известные только специалистам, звучат в хороших переводах. Из поэтов межвоенного двадцатилетия советский читатель впервые узнает Галчинского, и это имя прочно входит в число любимых поэтов наших стихолобов.

Никогда доселе столько крупных русских поэтов не переводили своих польских собратьев, причем с такою любовною тщательностью. Асеев, Ахматова, Пастернак, Мартынов, Зенкевич, Антокольский, Городецкий, Кирсанов, Светлов, Голодный — вот далеко не полный перечень поэтов старшего поколения — участников всех крупных изданий.

Одновременно большая работа ведется на Украине, где блистательно переводил и издавал польскую поэзию Максим Рыльский, в Белоруссии, в Грузии, в Армении.

Если сначала внимание поэтов-переводчиков сосредоточивалось на Броневском и Тувиме, что совершенно понятно, если учесть громадность таланта этих

мастеров, а также близость их к нашему народу и нашей литературе, их заслуги в деле перевода русской поэзии, то сейчас переводятся и издаются многие десятки польских поэтов.

Вместе со старыми мастерами, основателями советской поэзии, переводят поэты, рядовыми солдатами или сержантами прошедшие войну, участники освобождения Польши, учившие польский язык во время битвы за Варшаву или освобождения Кракова. Самойлов, больше всех поэтов своего поколения сделавший для перевода польских поэтов, на Висле был старшиной разведывательной роты. Прежде чем переводить варшавян, он написал поэму о Варшаве. Прежде чем прочесть Галчинского, он учил польский язык в разговорах с крестьянами и горожанами освобожденного края.

Пожалуй, ни одна из зарубежных поэзий не переведена у нас так тщательно и любовно и не прочитана так внимательно, как поэзия народной Польши. Времени еще предстоит сделать отбор среди этих переводов, и последние десятки страниц нашей книги, естественно, носят эскизный, предварительный характер.

Борис Слуцкий



*
ПОЛЬСКАЯ
ЛИРИКА
*

И. И. ДМИТРИЕВ



А Д А М М И Ц К Е В И Ч



ПЛАВАНИЕ

Морские чудища взвозились толпами;
Волнение, шум! Матрос по вервям бежит;
Готовьтесь, молодцы! Товарищам кричит.
Взбежал и, размахнув проворными руками,
В невидимой сети повиснул, как паук,
Стрегущий ткань свою в движениях ея.
О, радость! Ветр! Корабль, как с удила
сорвался,
Зашевелился, раскачался,
Ныряет в пенистых зыбях.
Подъемлет выю, топчет волны;
Челом бьет облак, мчится к небу,
И ветер он забрал под крыло,
С ним вместе и поэт средь бездны
Уносится порывом мачты;

Надулся дух его, как парус, и с толпой,
Невольно, шумным он восторгам предался;
Соплещет спутникам, припал на край громады,
И грудью мнит ея движенью помогать;
О, как ему легко и любо!
Отныне только он узнал
Завидную пернатых долю.

С надеждою навек душа разлучена,
От смертной прочь спешит и сам нейдет
к богине.

В нем сердце, как в степи давно забытый
храм,
На жертву преданный и тленью и грозам,
В котором мрачно все, лишь ветер пустынный
веет,
Жить боги не хотят, а человек не смеет.



БУРЯ

Корма затрещала, летят паруса,
Восторженной хляби звучат голоса,
И солнце затмилось над бездной морскою
С последней надеждой, кровавой зарею.

Громада, бунтуя, ревет и кипит,
И волны бушуют, и ветер шумит,
И стон раздается зловещих насосов,
И вырвались верви из рук у матросов.

Торжественно буря заняла: дымясь,
Из бездны кипучей гора поднялась,
И ангел-губитель по ярусам пены
В корабль уже входит, как ратник на стены.

Кто, силы утратив, без чувства падет;
Кто, руки ломая, свой жребий клянет;
Иной полумертвый о друге тоскует,
Другой молит бога, да гибель минует.

Младой иноземец безмолвно сидит,
И мнит он: «Тот счастлив, кто мертвым
лежит;

И тот, кто умеет усердно молиться,
И тот, у кого еще есть с кем проститься».



ПИЛИГРИМ

Роскошные поля кругом меня лежат;
Играет надо мной луч радостной денницы;
Любовью дышат здесь пленительные лица;
Но думы далеко к минувшему летят.

Напевом милым мне дубравы там шумят,
Байдары соловей, салгирские девицы,
Огнистый ананас и яхонт шелковицы —
Твоих зеленых тундр, Литва, не заменят.

В краю прелестном я брожу с душой унылой:
Хоть все меня манит, в тоске стремлюся
к той,
Которую любил порою молодой.

Он отнят у меня, мой отчий край! Но милой
О друге все твердит в родимой стороне:
Там жив мой след, — скажи, ты помнишь обо
мне?



АЮ-ДАГ

Люблю я, опершись на скалу Аю-Дага,
Смотреть, как черных волн несется зыбкий
строй,

Как пенится, кипит бунтующая влага,
То в радуги дробясь, то пылью снеговой;

И сушу рать китов, воюя, облегает;
Опять стремится в бег от влажных берегов
И дань богатую в побеге оставляет:
Сребристых раковин, кораллов, жемчугов.

Так страсти пылкие, подьемаля грозою,
На сердце у тебя кипят, молодой певец;
Но лютню ты берешь, — и вдруг всему конец.
Мятежные бегут, сменяясь тишиною,
И песни дивные роняют за собою:
Из них века плетут бессмертный твой венец.

И. А. ВЯЗЕМСКИЙ



ИГНАЦИЙ КРАСИЦКИЙ



ПАСТУХ И ОВЦА

Пастух стриг шерсть с Овцы и говорил ей так:

— Ну, может ли меня отец нежней быть
к дочке?

День целый от тебя не отхожу на шаг.

Признайся, что на свет ты родилась в сорочке!

Кормлю тебя, пою, от волка берегу,

А подрастет ли шерсть, все ж я тебя стригу!

— Чем мне воздать тебе, о добрый пастырь
стада? —

Под острием Овца смиренно говорит. —

За все твои труды Зевес тебе награда.

А из чего, позволь спросить, тулуп твой сшит?

ОРЕЛ И ЯСТРЕБ

Орел на воробья, сидящего на кровле,
Отправил Ястреба, гнушаясь мелкой ловлей.
Спешит Орлу ловец покорный дань поднести.
Иной чем больше ест, тем больше хочет есть:
Орел, зная, этого придерживаясь слова,
Сначала птицу съел, а после птицелова.



ОСЕЛ И БАРАН

Осел завидовал — кому бы уж? — Барану.
— Чем хуже я его? Придумать не могу.
Мне тяжкий труд, ему раздолье на лугу!
— С глупцом, — прервал Баран, — я тратить
слов не стану,
Но веришь ли? Мясник с ножом уже готов —
Доволен будь и тем, что не едят ослов.



МУДРЕЦ

Для табака ли нос или табак для носа?
Заспорили до слез, зная, два молокососа.
Табачный лавочник, свидетель жарких врак,

Назначен был от них в решители вопроса.

— О чем и спорить тут? — решил наш думный
дьяк. —

Вестимо, нос на то, чтоб нюхали табак.

К. Ф. РЫЛЕЕВ



ЮЛИАН УРСЫН НЕМЦЕВИЧ



ГЛИНСКИЙ

Под сводом обширным темницы подземной,
Куда луч приветный отрадных светил
Страшился проникнуть, где в области темной
Лишь бледный свет лампы, мерцая, бродил;
Гремевший в Варшаве, Литве и России
Бесславьем и славой сверщенных им дел,
В тяжелой цепи по рукам и по вые,
Князь Глинский, задумчив, сидел.

Волос уцелевших седые остатки
На сморщенно веком и грустью чело
Спадали кудрями, вясь в беспорядке:
Страданье на Глинском бразды провело...
Сидел он, склоненный на длань головою,

Угрюмою думой в минувшем летал;
Звучал средь безмолвья цепями порою
И тяжко, стоная, вздыхал.

При нем неотступно в темнице сидела
Прелестная дева — отрада слепца:
Свободой, и счастьем, и светом презрела,
И блага все в жертву она для отца.
Блеск пышный чертога для ней заменила
Могильная мрачность темницы сырой;
Здесь девичью прелесть дочь нежная скрыла
И жизни зарю молодой.

— О, долго ли будешь, стоная, лить слезы? —
Рекла она нежно. — Печали забудь!
Быть может, расторгнешь сии ты железы:
Надежда лелеет и узников грудь!
Быть может, остаток несчастливой жизни,
Спокою волнение и бурю души,
Как гражданин верный, на лоне отчизны
Ты счастливо кончишь в тиши.

— На лоне отчизны! — воскликнул изменник. —
Не мне утешаться надеждою сей:
Страшась угрызений, стенающий пленник,
Несчастный, и вспомнить трепещет о ней.
Могу ль быть покоен хотя на мгновенье?

Червь совести тайно терзает меня;
К себе самому я питаю презренье
И мучусь, измену кляня.

Природа дала мне возможные блага,
Чтоб славным быть в мире иль грозным
в войне:

Богатство, познания, порода, отвага —
Все с щедростью было ниспослано мне.
Желал еще славы и лавров победы;
Душа трепетала, дух юный кипел...
Вдруг поднялись тучей на Польшу соседы —
И лавр мне достался в удел.

Могольские орды влетели бедою:
Литва задымилась в пылу боевом —
И старцы, и жены, и дети толпою
Влеклися в неволю свирепым врагом;
И в пепел деревни и пышные грады;
И буйный татарин в крови утопал;
Ни веку, ни полу не зрели пощады —
Меч жадный над всеми сверкал.

Встревожен невзгодой, я к хищным навстречу
С дружиною храбрых помчался грозой,
Достиг — и отважно в кровавую сечу,
И кровь полилася, напелясь, рекой.
Покрылись телами поля и равнины:
Литвин и татарин упорно стоял;

Но с яростью новой за мною дружины —
И гордый могол побежал.

Боролся с кончиной властитель державный;
Тревогой и плачем наполнен дворец —
И вдруг о победе, и громкой и славной,
От Глинского с вестью примчался гонец.
Чело Александра веселость покрыва:
«Когда торжествует родная страна, —
Он рек предстоящим, — тогда и могила,
Поверьте, друзья, не страшна!»

Сим подвигом славным, чрез меру надменный,
Не мог укротить я волненья страстей —
И род забржезенских, давно мне враждебный,
Внезапно средь ночи пал жертвой мечей.
Погиб он — и други мне стали врагами,
И, предан душою лишь мести одной,
Дерзнул я вестися с чужими полками
В отчизну свирепой войной.

О, мука! о, совесть — тиран неотступной!..
Ни зрелище стягов родимой земли,
Ни тайный глас сердца из длани преступной
В час битвы исторгнуть меча не могли!
Среди раздраженных, пылающих мщеньем,
И ярых и грозных душой москвитян,
Увы, к преступленью влеком преступленьем,
Разил я своих сограждан!..

Бой кончен — и Глинский узрел на равнине
Растрезанных трупов и груды костей;
Душа предалася невольно кручине,
И брызнули слезы на грудь из очей.
Не в пору познал я тоску преступленья!
Вся гнусность измены представилась мне;
Молил Сигизмунда проступкам забвенья;
Мечтал о родной стороне!

Но гений враждебный о тайне душевной
Царю в злое время известие дал,
И русский властитель, смущенный и гневный,
Раскаянье сердца изменой назвал:
Лишил меня зренья убийцы руками,
Забывши и славу и старость мою,
И дядю царицы, опутав цепями,
Забросил в темницу сию.

Лет десять живу я в могиле сей холодной;
Ни звезды, ни солнце не светят ко мне;
Тоскую, угрюмый, в душе безотрадной
И думой стремлюся к родимой стране.
Приметно слабею в утраченных силах,
Чуть сердце трепещет, немеет мой глас,
И медленней льется кровь холодная в жилах,
И смерти уж близится час.

О дочь моя! Скоро, над гробом рыдая,
Ты бросишь на прах мой горсть чуждой земли.

Скорее, друг юный, беги сего края:
От милой отчины жить грустно вдали!
Свободный народ наш, деяньями славный,
Издавна известный в далеких краях,
Проступки несчастных отцов своенравно
 Не будет отмщать на детях.

Край милый увидишь — и сердца утраты,
И юных лет горе в душе облегчишь;
И башни, и храмы, и предков палаты,
И сердцу святые гробницы узришь!
Отца проклиная, дочь милую нежно
И ласково примут отчины сыны —
И ты дни окончишь в тиши безмятежной
 На лоне родимой страны.

Пусть рок мой, исполнен тоской и мученьем,
Пребудет примером отчины моей!
Да, каждый, пылая преступным отмщеньем,
Идти не посмеет стезею страстей!
Да видят во мне моей родины братья,
Что рано иль поздно — измене взгремят
Ужасные сердцу сограждан проклятья
 И совесть от сна пробудят!

Несчастный умолкнул с душевной тоскою;
Вдруг стон по темнице — и Глинский упал
На дочери лоно седой головою,

И холод кончины его оковал!..

Так Глинский — муж Думы и пламенный

воин, —

Погиб на чужбине, как гнусный злодей;

Хвалы бы он вечной был в мире достоин,

Когда бы не буря страстей.

А Д А М М И Ц К Е В И Ч



ВОСПОМИНАНИЯ

Еще ли в памяти рисуется твоей
С такою быстротой промчавшаяся младость —
Когда, Дорида, мы, забыв иных людей,
Вкушали с жаждою любви и жизни сладость?..
Еще ли мил тебе излучистый ручей
 И струй его невнятный лепет,
Зеленый лес и шум молодых ветвей,
 И листьев говорящий трепет,
 Где мы одни с любовью своей
 Под ивою ветвистою сидели:
Распростирала ночь туманный свой покров,
Терялся вдалеке чуть слышный звук свирели,
И рог луны глядел из облаков,
И струйки ручейка журчащие блестели...
 Луны серебристые лучи
 На нас, Дорида, упали,
И что-то прелестям твоим в ночи
 Небесное земному придавали:
 Перерывался разговор,

Сердца в восторгах пылких млели,
К устам уста, тонул во взоре взор.
И вздохи сладкие за вздохами летели.
 Не знаю, милая, как ты;
 Но я не позабуду про былое:
Мне утешительны, мне сладостны мечты.
Безумство юных дней, тоска и суеты;
 И наслаждение сие немое
Так мило мне, как запах от левкоя,
Как первый поцелуй невинной красоты.

А. С. ПУШКИН



АДАМ МИЦКЕВИЧ



Сто лет минуло, как тевтон
В крови неверных окупался;
Страной полночной правил он.
Уже пруссак в оковы вдался,
Или сокрылся, и в Литву
Понес изгнанную главу.

Между враждебными берегами
Струился Немен: на одном
Еще над древними стенами
Сияли башни, и кругом
Шумели рощи вековые,
Духов пристанища святые.
Символ германца, на другом
Крест веры, в небо возносящий
Свои объятия грозящи,
Казалось, свыше захватить

Хотел всю область Палемона
И племя чуждого закона
К своей подошве привлечь.

С медвежьей кожей на плечах,
В косматой рысей шапке, с пуком
Каленых стрел и с верным луком,
Литовцы юные, в толпах,
Со стороны одной бродили
И зорко недруга следили.
С другой, покрытый шишаком,
В броне закованный, верхом,
На страже немец, за врагами
Недвижно следуя глазами,
Пищаль, с молитвой, заряжал.

Всяк переправу охранял.
Ток Немена гостеприимный,
Свидетель их вражды взаимной,
Стал прагом вечности для них;
Сношений дружных глас утих,
И всяк, переступивший воды,
Лишен был жизни иль свободы.
Лишь хмель литовских берегов,
Немецкой тополью плененный,
Через реку, меж тростников,
Переправлялся дерзновенный,
Брегов противных достигал

И друга нежно обнимал.
Лишь соловьи дубрав и гор
По старине вражды не знали
И в остров, общий с давних пор,
Друг к другу в гости прилетали.



БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.
— Дети! седла чините, лошадей проводите
Да точите мечи с бердышами.

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на пруссаков,
А на русских Кестут воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые
(Да хранят вас литовские боги!),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных
нарядах,
Домы полны, богат их обычай.

А другой от пруссаков, от проклятых
крыжаков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета;
Янтаря — что песку там морского.

Третий с Пазом на ляха пусть ударит без
страха.
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но уж, верно,
оттуда
Привезет он мне на дом невестку.

Нет на свете царицы краше польской девицы,
Весела, что котенок у печки,
И, как роза, румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся, будто две свечки!

Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку.

Сыновья с ним простились и в дорогу
пустились.
Ждет, пождет их старик домовитый,
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж, видно, убиты!

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая,
— Чем тебя наделили? Что там? Ге!
не рубли ли?
— Нет, отец мой: полячка младая.

Снег пушистый валится; всадник с ношею
мчится,
Черной буркой ее покрывая.
— Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?
— Нет, отец мой; полячка младая.

Снег на землю валится, третий с ношею
мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж
не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.



ВОЕВОДА

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

И, мрачнее черной ночи,
Он потупил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус...
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
— Гей ты, — кликнул, — чертов кус!

А зачем нет у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку
Да сними с гвоздя винтовку.
Ну, за мною!.. Я ж ее!

Пан и хлопец под забором
Тихим крадутся дозором,
Входят в сад — и сквозь ветвей,
На скамейке у фонтана,
В белом платье, видят, панна
И мужчина перед ней.

Говорит он: — Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье,
Воевода все купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я!
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.

Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья
И потом навек бежать.

Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят,
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.

Подступили осторожно,
— Пан мой, целить мне не можно, —
Бедный хлопец прошептал. —
Ветер, что ли, плачут очи,
Дрожь берет, в руках нет мочи,
Порох в полку не попал.

— Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мне время!
Сыпь на полку... Наводи...
Цель ей в лоб. Левее... выше.
С паном справлюсь сам. Потише;
Прежде я; ты погоди.

Выстрел по саду раздался,
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся...
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.

В. Г. БЕНЕДИКТОВ



СТАНИСЛАВ ТРЕМБЕЦКИЙ



ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Где только орел быстрым летом своим
Птиц робких внезапно пугает
И гневный Юпитер огнем громовым
Воздушную область пронзает, —
Глядь — двое из смертных летят! Победить
Задумав искусством природу
И, опыт Икара решась повторить,
Взнеслись они к горнему своду.
Вздымаемый шаром раздутым, челнок
Несет их; пловцы не робеют,
Рулем управляет неведомый рок,
А ветер командует. Реют.

Уж дольные зданья чуть видимы. Взгляд
Иные встречает картины
И образы: вместо тех стройных громад
В тумане мелькают руины.
Король, и сенатор, и пахарь простой
У смелых пловцов под ногами
Смешались, покрытые пылью густой,
Все ползают там червяками.
Как мокрого детского пальца следок,
Порой на столе проведенный,
Так Вислы могучий, шумливый поток
Является им, измененный.
Сбегается к редкой потехе народ —
И сколько тут кликов, вопросов!
Летящих чарует успешный полет:
По-своему мыслит философ.
Природа тройной хоть стеной оградись —
Стремящийся вдаль понемногу,
И вглубь человеческий разум, и ввысь,
Пробьет себе всюду дорогу.
Он дикую силу стихий превозмог,
И — с их ломовым произволом
В боренье — от суши он воду отвлек,
Горам повелел он быть долом;
Морям он свои поручил корабли;
Средь волн, побеждающий бури,
Сокровища вырыл из недр он земли
И плавать стал в горней лазури.

Плыви, вознесись, благороднейший челн!
Сил вражьих не бойся удара,
Твой подвиг славнее среди жизненных волн,
Чем подвиг отважный Бланшара!

ТОМАШ КАЕТАН ВЕНГЕРСКИЙ

●

ФИЛОСОФ

Есть ли деньги, нету ль денег —
И здоров и весел я.
Мне — когда я не мошенник —
Нагота не в стыд моя.

Если как-нибудь живется,
То фортуне и поклон!
Часом тонко — так что рвется:
Я и тем не возмущен.

Мне и в ходе самом тесном
Меж препятствий — не беда:
До того, чтоб стать бесчестным,
Я не скорчусь никогда.

Велика ль моя потреба?
Обхожусь в голодный час
И без белого я хлеба,
И без сочных, ценных мяс.

Для значенья перед светом,
Чтоб снискать его поклон,
Я не жажду быть одетым
В злато, бархат и виссон.

Где нужна для дружбы трата
Денег — прочь я от связей:
Не хочу ценою злата
Покупать себе друзей.

Если дружба еле длится
И до черного лишь дня
Угощениями крепится —
Дружба та не для меня!

Так, не склонный к дальним тратам,
Сам-большой в своем дому,
Я кажусь себе богатым,
Коль не должен никому.

А Д А М М И Ц К Е В И Ч



ДАНАИДЫ

Прекрасный пол! О, где ты, век златой? О, где вы,
Дни чудные, когда за полевой цветок,
За ленту алую сдавалось сердце девы,
И перед милою был сватом голубок?

Теперь дешевый век, и нежный пол — дороже.
Той золото даю: нет! гимны ей слагай!
Той сердце предлагал: отдай и руку! боже!
Ту пел и славил я: богат ли? отвечай!

О Данаиды! Я кидал (несчастный грешник!)
Святыню в бочку вам; при гимнах, при дарах,
Я сердцем жертвовал, расплавленным в слезах.

И вот я стал скупец из мота, стал насмешник
Из агнца! Хоть служить еще готов я вам
Дарами, песнями, — души уж не отдам!

ГОРА КИКИНЕИЗ

М и р а

Вагляни в эту пропасть! Там неба лазурь
у тебя под стопою:
То— море. Сдается, тут птицу, что в сказках
зовут птах-горою,
Перун поразил, и гигантские перья, как
мачтовый лес,
Рассыпавшись, заняли место в пол-свода небес—

И остров плавучий из снега покрыл
голубую пучину:
Тот остров средь бездны — то облако! Мира
одел половину
Мрак ночи угрюмый, что вышла на землю
из персей его,
Ты видишь: увенчано огненной лентой чело
у нее —

То молния! Станем тут! бездна под нами.
По этим стремнинам
Должны чрез нее пронестись мы на полном
скаку лошадином.
Вперед поскачу я, ты ж бич наготове и шпоры
имей!

К. К. ПАВЛОВА



АЛЕКСАНДР ХОДЗЬКО



ЛИТОВСКАЯ ПЕСНЯ

Землю как гонец
Я с конца в конец
Облетал
С саблей наголо;
Мне везде везло —
Враг бежал.

Ты спроси, ей-ей!
Всех в Литве людей,
Знавших бой:
Чей же рог трубит,
Чей же конь летит
Так, как мой?

Всем мой дом богат:
Сто коров мычат
 По лугам;
Высоко стоит,
Словно лес, шумит,
 Жатва там.

Есть кому и дать,
Для кого собрать
 Плод дерев:
Там блестит красой
Цвет весенний мой —
 Дева дев.

Взял тебя же я,
Пташечка моя!
 Не робей.
В клетке жить учись,
С матерью простись.
 Слез не лей!

Ты простись с отцом;
Выйдешь с молодцом
 Из лесов;
В путь со мной ступай
И литовца знай:
 Он таков!

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

П и л и г р и м

Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?
Вот свет все небо озарил:
То не пожар ли Царяграда?
Иль бог ко сводам пригвоздил
Тебя, полночная лампада,

Маяк спасительный, отрада
Плывущих по морю светил?

М и р з а

Там был я, там со дня создания,
Бушует вечная метель;
Потоков видел колыбель.
Дохнул, и мерзнул пар дыханья.
Я проложил мой смелый след,
Где для орлов дороги нет,
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою
Одна сверкала лишь звезда,
То Чатырдаг был...

П и л и г р и м

А!..

А. А. ФЕТ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



СВИТЕЗЯНКА

Кто этот юноша скромный, прекрасный,
Рядом с ним дева кто эта,
Идут по берегу Свитези ясной
В проблесках лунного света?

Дева ему предлагает малины,
Он ей цветов предлагает;
Знать, то виновник девичьей кручины;
Видно, по ней он вздыхает.

Каждую ночь я в условную пору
Тут их под дубом встречаю.
Здесь стрелок он и рыщет по бору;
Кто эта дева — не знаю.

Дева исчезла, как ветра дыханье;
Он одинокий остался.

Где он? Свернул незнакомой тропюю...
Гнется трясина живая,
Тихо кругом, лишь трещит под ногою
Изредка ветка сухая.

Вот и к воде подошел он в смущенье,
Взоры блуждают без цели...
По лесу ветер завыл в отдаленье...
Волны, кипя, зашумели...

Льются и плещут, кипя и сверкая...
О, это призрак напрасный:
Чудная дева всплыла, разверзая
Влагу на Свитези ясной!

В каплях чело ее мягче сияет
Роз белоснежных завоя,
Легче тумана покров обвивает
Тело ее неземное.

«Юноша, юноша нежный, прекрасный, —
Дева взывает с упреком, —
Что ты тут бродишь у Свитези ясной
В полночь в раздумье глубоком?

Юного сердца порывы так жарки,
Ты околдован мечтою...

Может быть, речи вертлявой дикарки
Были насмешкой пустою?

Слушай и верь мне: с тоскою расставшись,
Брось этот призрак печальный;
Здесь оживешь ты; здесь будем,
обнявшись,
Плавать по влаге кристальной;

Будешь, как резвая ласточка, шибко
Волн по верхам прикасаться,
Либо, доволен и весел, как рыбка,
День весь со мною плескаться.

Ночью ж, на дне серебристой купели
Под зеркалами живыми,
Нежась на мягкой лилейной постели,
Тешиться снами златыми!»

То, не касаясь до влаги стопами,
Радугой блещет лучистой,
То, погружаясь, играет с волнами,
Пеною брызжет серебристой.

Юноша к ней; но, опомнясь, с разбегу
Хочет прыгнуть и не хочет:
В ноги к нему подкатившись по берегу,
Нежно волна их щекочет.

Здесь ему горе, и там, за могилой,
Горе душе его злобной.

Где тебе мчаться равниною водной,
С бездной играть голубою?
Бренное тело землею холодной,
Очи закроются тьмою.

А у знакомого дуба скитаться
Будет душа твоя злая;
Тысячу лет суждено ей терзаться,
В пламени адском сгорая!»

Слышит стрелок эти речи в смущенье,
Взоры блуждают без цели;
По лесу ветер завыл в отдаленье,
Волны, кипя, зашумели.

Мечутся волны толпой разъяренной,
Плещут, клокочут и стонут,
Пасть разверзается хляби бездонной,
Дева и юноша тонут.

Волны поныне и в брызгах и в пене
Плещут, исполнены гнева;
Мчатся по ним две знакомые тени —
Юный стрелок то и дева!

ДОЗОР

От садового входа впопыхах воевода
В дом вбежал, — еле дух переводит;
Дернул занавес, — что же? глядь на женино
ложе —
Задрожал, — никого не находит.

Он поник головою, и дрожащей рукою
Сивый ус покрутил он угрюмо;
Взором ложе окинул, рукава в тыл закинул,
И позвал казака он Наума.

«Гей ты, хамово племя! Отчего в это время
У ворот ни собаки, ни дворни?
Снимешь сумку барсучью и винтовку гайдучью
Да с крюка карабин мой проворней».

Взяли ружья, помчались, до ограды
подкрались,
Где беседка стоит садовая.
На скамейке из дерна что-то бело и черно:
То сидела жена молодая.

Белой ручки перстами, скрывши очи кудрями,
Грудь сорочкой она прикрывала,
А другою рукою от колен пред собою,
Плечи юноши прочь отклоняла.

Тот, к ногам преклоненный, говорит ей,
смущенный:

«Так конец и любви и надежде!
Так за эти объятия, за твои рукожатыя
Заплатил воевода уж прежде!

Сколько лет я вздыхаю, той же страстью
сгораю —

И удел мой страдать бесконечно!
Не любил, не страдал он, лишь казней
побрядал он, —
И ты все предала ему вечно.

Он — что ночь — властелином, на пуху
лебедином

Старый лоб к этим персям склоняет
И с ланит воспаленных, и с кудрей
благовонных

Мне запретную сладость впивает.

Я ж, коня оседлавши, чуть луну увидавши,
Тороплюся по хладу ненастья,

Чтоб встречаться стенаньем и прощаться
желаньем

Доброй ночи и долгого счастья».

Не пленивши ей слуха, верно, шепчет ей в ухо
Он иные мольбы и заклятья,
Что она без движенья и полна упоенья
Пала к милому тихо в объятья.

С казаком воевода ладят с первого взвода,
И патроны из сумки достали,
И скусили зубами и в стволы шомполами
Порох с пулями плотно дослали.

«Пан, — казак замечает, — бес какой-то мешает:
Не бывать в этом выстреле толку.
Я, курок нажимавши, сыпал мимо, дрожавши,
И слеза покатилась на полку».

«Ты, гайдук, стал калякать? Научу тебя
плакать,
Только слово промолвить осмелюсь!
Всыпь на полку, да живо! сдерни ногтем
огнива,
И той женщине в лоб ты прицелься.

Выше, вправо, до разу, моего жди приказу!
Молодца-то при первом наводе...»
Но казак не дождался, громко выстрел
раздался
И прямехонько в лоб — воеводе.

СВИДАНИЕ В ЛЕСУ

«Ты ль это? так поздно?» — «Я сбился
в потемках с дороги:
При месяце тусклом тропа обманула лесная!
Грустила? меня вспоминала?» — «Скажи мне,
могла я
О чем постороннем подумать, любимец мой
строгий?»

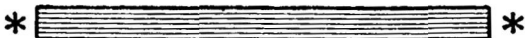
«О, дай же мне руку! Позволь целовать эти
ноги!
Дрожишь? что с тобою?» — «Не знаю; в лесу
я, гуляя,
Пугаюсь, чуть лист зашумит или птица
ночная...»

Ах, знать, мы преступны, коль сердце
так полно тревоги!»

«Взгляни-ка мне в очи, в лицо: никогда
не бывала
Вина так смела, и тревога с улыбкой такою.
Ужель ты преступна, что быть мне с тобой
позволяла?»

Сижу я далеко, люблюсь с отрадой немой —
И так я, мой ангел земной, наслаждаюсь тобою,
Как будто ты духом, как будто ты ангелом
стала».

А. Н. МАЙКОВ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА

Скачу как бешеный на бешеном коне;
Долины, скалы, лес мелькают предо мною,
Сменяясь, как волна в потоке за волною...
Тем вихрем образов упиться любо мне!

Но обессилел конь. На землю тихо льется
Таинственная мгла с темнеющих небес,
А пред усталыми очами все несется
Тот вихорь образов — долины, скалы, лес...

Все спит. Не спится мне — и к морю я сбегаю;
Вот с шумом черный вал подходит; жадно я
К нему склоняюсь и руки простираю...

Всплеснул, закрылся он; хаос повлек меня —
И я, как в бездне челн крутимый, ожидаю,
Что вкусит хоть на миг забвенья мысль моя.



АЛУШТА ДНЕМ

Пред солнцем гребень гор снимает свой покров.
Спешит свершить намаз свой нива золотая,
И шелохнулся лес, с кудрей своих роняя,
Как с ханских четок, дождь камней
и жемчугов.

Долина вся в цветах. Над этими цветами
Рой пестрых бабочек — цветов летучих рой, —
Что полог зыблется алмазными волнами;
А выше — саранча вздымает завес свой.

Над бездною морской стоит скала нагая.
Бурун к ногам ее летит и, раздробясь,
И пеною, как тигр глазами, весь сверкая,

Уходит с мыслию нагрянуть в тот же час.
Но море синее спокойно — чайки реют,
Гуляют лебеди и корабли белеют.

АЛУШТА НОЧЬЮ

Тяжелый летний зной остужен ветерками;
Упал на Чатырдаг светильник всех миров,
Змеится пурпуром над склонами хребтов
И гаснет. Ночь царит в горах и за горами.

Стал робче пешеход. Чу! слышен звон
ручьев;
На ложе сладких грез, увитом васильками,
Струится аромат, как музыка цветов,
И сердцу говорит беззвучными речами.

Смыкает сон мой усталые глаза...
Вдруг метеор сверкнул: в одно мгновенье ока
Он облил золотом и дол и небеса...

О ночь восточная! Как гурия Востока,
Едва навеешь сон ты негою своей,
Как будишь к неге вновь сверканием очей.

А. А. ГРИГОРЬЕВ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



* * *

Я ее не люблю, не люблю...
Это — сила привычки случайной!
Но зачем же с тревогою тайной
На нее я смотрю, ее речи ловлю?

Что мне в них, в простодушных речах
Тихой девочки с женской улыбкой?
Что в задумчиво-робко смотрящих очах
Этой тени воздушной и гибкой?

Отчего же — и сам не пойму —
Мне при ней как-то сладко и больно,
Отчего трепещу я невольно,
Если руку ее на прощанье пожму?

Отчего на прозрачный румянец ланит
Я порою гляжу с непонятною злостью
И боюсь за воздушную гостью,
Что, как призрак, она улетит?

И спешу насмотреться, и жадно ловлю
Мелодически милые, детские речи;
Отчего я боюсь и жду с нею встречи?..
Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.



АДАМ МИЦКЕВИЧ



* * *

Моя баловница, отдавшись веселью,
Зальется, как птичка, серебряной трелью,
Как птичка, начнет щебетать-лепетать,
Так мило начнет лепетать-щебетать,
Что даже дыханьем боюсь я нарушить
Гармонию сладкую девственных слов,
И целые дни, и всю жизнь я готов
Красавицу слушать, и слушать, и слушать!

Когда ж живость речи ей глазки зажжет
И щеки сильнее румянить начнет,
Когда при улыбке, сквозь алые губы,
Как перлы в кораллах, блеснут ее зубы, —

О, в эти минуты я смело опять
Гляжуся ей в очи — и жду поцелуя,
И более слушать ее не хочу я,
А все — целовать, целовать, целовать!

ЮЗЕФ БОГДАН ЗАЛЕСКИЙ



ДВЕ СМЕРТИ

Год они любились — навек разлучились,
И сердца обоих вдребезги разбились.

Девушка томится во светлице новой,
А казак уложен мать-сырой дубровой.

Девушка поникла к пуху-изголовью,
А казак — к жупану, облитому кровью.

Девичьи лекарства — меды-вареницы,
А казак... хоть каплю б подали водицы!

Девушку вся семья с плачем обнимает,
А казак... уж ворон каркнул и слетает...

Оба отстрадали; грудь сожгло обоим —
И заснули оба вечным сном-покоем.

Девицу со звоном, с литией зароят,
А казак... над бедным только волки воют...

Девичью могилку холят и лелеют,
А казачьи кости по ветру белеют.

ЗИГМУНТ КРАСИНСКИЙ



* * *

Спишь ты... Ангел ночи
Веет над тобою,
Незабудки-очи
Оросил слезою,

Косу перекинул
Вкось по изголовью
И всю душу вынул
Мне из сердца с кровью.

Спишь ты и не слышишь —
Только бог и слышит, —
Что, когда ты дышишь,
Кто-то и не дышит.

ВЛАДИСЛАВ СЫРОКОМЛЯ



КУКЛА

Будь пай, дитя, будь, куколка, исправна;
Не плачь, а то ведь скажут, что глупа;
Нагни ушко, послушай, что недавно
Я слышала от мамы и папа.

Вот видишь: кроме новенькой бурнуски,
Мне к празднику и ленту подарят;
Я выучу молитвы по-французски
И обновлю в костеле свой наряд.

Я потихоньку помолюсь в костеле
По-польски: «Дай мне, боже, подрасти,
Похорошеть, а папе с мамой боле
С небес кружочков желтеньких спусти».

Они их любят, молятся усердно,
Кладут на блюдо злота два подчас,
А божье сердце, знаешь, милосердно!
Положишь злот, — отдаст он во сто раз.

Какая ты! Зачем он так поступит,
Когда раздал все золото жидам?
Ну, жид приедет с злотыми и скупит
У нас холопов всех по деревням.

Ведь ты не знаешь: мы с тобою — пане,
А то есть чернь — холопство и народ;
Они совсем другое, чем дворяне,
И созданы работать на господ.

Все грязные, приличия не знают,
Все глупы так, глупее вот столпа...
А виноваты сами. Бог карает
За то их, что не слушают папа.

Папа лошадок любит, мама — шпица,
А этих-то, холопов-то, бранят,
Да как ведь бьют!.. Небесная царица!
Ох, как их бьют — и плакать не велят!

За то и бьют, что неучтивы дети...
Вот и вчера: папа откушал чай,
Лег отдохнуть — вошли мужланы эти,
Кричат: «Пан, хлеба, хлеба нам давай!»

Ну, приказал прогнать... поколотили...
Нет, вырасту — не лягу отдохнуть,
Пока их всех, вот всех не накормили,
А то подумай: можно ли заснуть —

Когда трещит вся голова от стука
И ломится нахально в дверь народ?
Не накорми — придет, пожалуй, бука,
Возьмет тебя в мешок и унесет...

Да это что!.. А как Христос-то с неба
Увидит?.. Он ведь поровну дает
Всем бедным и голодным рыб и хлеба...
Спаси нас, бог, и накорми народ!..

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ



ВЛАДИСЛАВ СЫРОКОМЛЯ



ДУМА

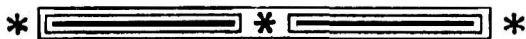
Здесь дни мои текут спокойно,
Здесь хлеба вдоволь и цветов,
И вечерком приятель добрый
Потолковать со мной готов.

Средь яблонь, груш и дубов старых
Отраднo в этой мне тиши.
Еще одно бы только благо —
Одно спокойствие души!

О люди, братья, помолитесь
За брата бедного порой,
Чтобы остыл тревожной мысли
Жар в голове моей больной;

Чтобы мечтам моим крылатым
Рассудок воли не давал,
Чтоб о всеобщем, вечном счастье,
Безумный, я не помышлял!

М. Л. МИХАЙЛОВ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



К ПОЛЬКЕ-МАТЕРИ

О полька-мать! Коль в детском взгляде сына
Надеждами тебе заблещет гений
И ты прочтешь в нем гордость гражданина —
Отвагу старых польских поколений;
Коль отрок сын твой, игры покидая,
Бежит он к старцу, что поет былины,
И целый день готов сидеть, внимая,
Все слушать, весь недетской полн кручины,
Слова былин о том, как жили деды, —
О полька-мать! Сыновнею забавой
Не тешься, — стань пред образом скорбящей,
Взгляни на меч в ее груди кровавой;
Такой же меч тебе готовит враг грозящий.
И если б целый мир расцвел в покое,

Все примирилось — люди, веры, мненья,
Твой сын живет, чтоб пасть в бесславном бое,
Всю горечь мук принять — без воскресенья.
Пусть с думами своими убегает
Во мрак пещер; улегшись на рогоже,
Сырой, холодный воздух там вдыхает
И с ненавистным гадом делит ложе;
Пусть учится таить и гнев и радость,
Мысль сделает бездонною пучиной
И речи даст предательскую сладость,
А поступи — смиренный ход змеиный.
Христос — ребенком в Назарете
Носил уж крест, залог страданья.
О полька-мать! пускай свое призванье
Твой сын заране знает.
Заране руки скуй ему цепями,
Заране к тачке приучай рудничной,
Чтоб не бледнел пред пыткой темничной,
Пред петлей, топором и палачами.
Он не пойдет, как рыцарь в стары годы,
Бить варваров своим мечом заветным
Иль, как солдат под знаменем трехцветным,
Полить своею кровью сев свободы.
Нет, зов ему пришлет шпион презренный,
Кривоприсяжный суд задаст сраженье,
Свершится бой, в трущобе потаенной
Могучий враг произнесет решение,

ЗИГМУНТ КРАСИНСКИЙ



* * *

От слез и крови мутны и черны,
Клубятся волны жизни, вечным стоном
И скрежетом зубов оглашены.
В тумане похоронном
Бесплодный берег прошлого исчез;
А впереди далекий край небес
Кровавым заревом пылает.
Вокруг плывущих мрак сырой,
Знобит их стужа — и с тоской
И воплем каждый повторяет,
Плывя во тьме: «Проклятье надо мной!»

Л. Н. ТРЕФОЛЕВ



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



ПЕСНЯ ИЗГНАННИКА

Малютка, стихов у меня не проси!
Изгнанник, я музе не внемлю.
Домой без меня возвратись, ороси
Слезами родимую землю.

Там вырастет быстро цветок голубой,
Простой колокольчик. Чудесней,
Отрадней меня зазвучит он с тобой
Родною славянскою песней.

Малютка, стихов для тебя не создам!
Все песни изгнанником спеты.
За песнями ты обратишься к звездам:
Они говорят, как поэты.

Пока звезды блещут для нас с высоты,
К небесным прислушайся хорам.

Пока не засохли родные цветы,
Прислушайся к их разговорам.

Блестящие звезды с далеких небес
Тебя наградят дивной сказкой,
И лес всеславянский, дремучий наш лес
Малютке поклонится с лаской.

Когда-то был чистым младенцем я сам,
Но злобой мой дух омрачился.
Когда-то в мечтах, обратясь к небесам,
У звездочек петь я учился.

Когда-то я сам над рекою родной
Ребенком пел песни без злости;
Но волей судьбы и народной волной
Умчался далеко я в гости.

Я еду все дальше. Страдать я готов...
Когда же вернешься сама ты,
С собой привези мне от наших цветов
Чудесные их ароматы.

Блеск звездочек наших доставь мне
с тоской,
В замену духовного хлеба;
Ко мне прилети лучезарной, такой,
Как будто слетела ты с неба!

АНТОНИЙ ЭДВАРД ОДЫНЕЦ



ПЛЕННИЦА

(Литовская баллада)

Перестань же плакать, полька! Ты в руках
моих! Изволь-ка
Сесть на лошадь как-нибудь.
Будешь ты моей рабою. Я замешкался с тобою,
А далек и труден путь!

Заковавши пленных в цепи, наши всадники
по степи
Ускакали впереди,
Не догнать их в чистом поле... И с тобою
поневоле
Расплачусь я, погоди!

Но убью тебя, так кто же ляжет спать
на брачном ложе,
Приласкавшись ко мне?

Есть у нас, в Литве, обычай, чтоб
с красавицей-добычей
Возвращаться на коне.

Снова просишь робким взглядом. Все напрасно!
Сядь же рядом,

Сядь со мною на седло!
Мы с богатством незнакомы; наши седла
из соломы,
Но в избе у нас светло.

Дома — славные мы люди. Мой скакун лихой
из Жмуди
Ждет, хозяйку полюбя;
А вечернею порою я от холода закрою
Волчьей буркою тебя.

И о чем же ты жалеешь? Ничего здесь
не имеешь,
Все исчезло без следа:
Дом родимый, дом отцовский подожжен рукой
литовской, —
Оглянись, смотри сюда!

А! Ты плакать перестала, веселей, живее стала,
Кровь прихлынула к лицу;
Взоры к небу ты возносишь: проклинаешь, или
просишь,
Или молишься творцу?

Девки — ветренное племя!.. Как она поспешно
в стремя

Вдела ногу — и к огню
Мчится вихрем, вдруг прыгнула, побежала,
обманула...

Врешь!.. Стрелой догоню.

Осторожнее! Смотри же, пламя вьется ближе,
ближе...

Удались! Прощу, молю...

Клятва страшная — залогом: я клянусь
Перуном-богом,
Что люблю тебя, люблю!

На тебе одежда пышет... Сумасшедшая,
не слышит!

Стой! Назад, сюда, ко мне!

Но она, поднявши руки, не пугаясь страшной
муки,

Вдруг исчезнула... в огне.

ВЛАДИСЛАВ СЫРОКОМЛЯ



ЯМЩИК

Мы пьем, веселимся, а ты, нелюдим,
Сидишь, как невольник, в затворе.
И чаркой и трубкой тебя наградим,
Когда нам поведаешь горе.

Не тешит тебя колокольчик подчас,
И девки не тешат. В печали
Два года живешь ты, приятель, у нас, —
Веселым тебя не встречали.

— Мне горько и так, и без чарки вина,
Не мило на свете, не мило!
Но дайте мне чарку; поможет она
Сказать, что меня истомило.

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, водилась силенка.
И был я с трудом подневольным знаком,
Замучила страшная гонка.

Скакал я и ночью, скакал я и днем;
На водку давали мне баря,
Рублевик получим, и лихо кутнем,
И мчимся, по всем приударя.

Друзей было много. Смотритель не злой;
Мы с ним побратались даже,
А лошади! Свистну — помчатся стрелой...
Держися, седок, в экипаже!

Эх, славно я ездил. Случалось, грехом,
Лошадок порядком измучишь;
Зато, как невесту везешь с женихом,
Червонец наверно получишь.

В соседнем селе полюбил я одну
Девуцу. Любил не на шутку;
Куда ни поеду, а к ней заверну,
Чтоб вместе пробыть хоть минутку.

Раз ночью смотритель дает мне приказ:
«Живей отвези эстафету!»
Тогда непогода стояла у нас,
На небе ни звездочки нету.

Смотрителя тихо, сквозь зубы, браня
И злую ямщицкую долю,
Схватил я пакет и, вскочив на коня,
Помчался по снежному полю.

Я еду, а ветер свистит в темноте,
Мороз подирает по коже.
Две версты мелькнули, на третьей версте...
На третьей... О господи боже!

Средь посвистов бури услышал я стон,
И кто-то о помощи просит,
И снежными хлопьями с разных сторон
Кого-то в сугробах заносит.

Коня понукаю, чтоб ехать спасти;
Но, вспомнив смотрителя, трушу,
Мне кто-то шепнул: на обратном пути
Спасешь христианскую душу.

Мне сделалось страшно. Едва я дышал,
Дрожали от ужаса руки.
Я в рог затрубил, чтобы он заглушал
Предсмертные слабые звуки.

И вот на рассвете я еду назад.
По-прежнему страшно мне стало.
И, как колокольчик разбитый, не в лад
В груди сердце робко стучало.

Мой конь испугался пред третьей верстой
И гриву вскосматил сердито:
Там тело лежало, холстиной простой
Да снежным покровом покрыто.

Я снег отряхнул — и невесты моей
Увидел потухшие очи...
Давайте вина мне, давайте скорей,
Рассказывать дальше — нет мочи!



НЕ Я ПОЮ

1

Не я пою, но божий дух;
Во мне творит он песни вслух,
Он, милосердный, и в ночи
Бросает в грудь мою лучи,
И мне при них светлей, теплей,
И в душу я беру смелей
Все, что прекрасно для души, —
И гармоничны, хороши
Выходят звуки; их в тиши
Слагает бог своей рукой...
Но грудь моя звучит с тоской,
Как струны арфы... Тихо бью,
Бью со слезами грудь мою,
Пока настроится она
И — вдохновением полна —
Не зазвучит сильнее, стройней.
...Так создается песня в ней!

Не я пою — народ поет.
 Во мне он песни создает;
 Меня он песнею связал,
 Он ею сердце пронизал
 И братски нежно приказал
 О зле и радостях в тиши
 Петь по желанию души.
 Народом песня создана,
 И электрически она
 На душу действует мою,
 И я, бедняк, ее пою.
 Я только эхо песни той,
 Святой, младенчески простой.
 Я только ею грею кровь,
 При ней лишь чувствую любовь.
 Отраднo сердцу моему,
 Когда к груди своей прижму
 Десницу брата: под рукой
 Трепещет грудь моя с тоской;
 Но с верой в близость лучших дней
 В груди становится вольней.
 ...Так создается песня в ней!

Не я пою — весь мир поет;
 Во мне он песни создает,

И вижу я его красу
В родной реке, в родном лесу,
Когда они заговорят,
Когда помчится тучек ряд,
Когда вдруг ветерок порхнет —
С души спадет тяжелый гнет,
И я, открывши грудь мою,
Гостей сзываю и пою.
Мои мечты, слетев ко мне,
В моей душевной глубине
Не могут поместиться в ряд,
И беспорядочно шумят,
И веселят меня игрой,
Шумят-жужжат, как пчелок рой,
Пророчат много светлых дней,
И дышит грудь моя полней,
...Так создается песня в ней!



ЗДРАВИЦА

Гуляй, душа! Жизнь хороша,
Когда мы все хмельны.
Что есть в печи, на стол мечи, —
И бедняки и богачи
За чаркою равны.

О чем тужить?.. Начнемте жить
 Без горя, веселей!
А чтобы горе утопить,
Давайте пить, давайте пить!
 Сосед, еще налей!

Плоха земля. У нас поля
 Засохли без дождя.
«Побольше свету! Меньше тьмы!» —
Об этом робко просим мы
 Небесного вождя:
«Небесный вождь, пошли нам дождь,
 Ручьем его пролей!»
Чтоб злое горе утопить,
Давайте пить, давайте пить
 За честь родных полей!

Стоит весна, но не красна
 Нам жизнь и в вешний день:
Земля — как твердая скала,
Нет даже корму для вола —
 Он ходит, будто тень.
Устал наш конь. Его не тронь,
 Не то падет — беда!
Чтоб злое горе утопить,
Здоровье ваше будем пить,
 Родимые стада!

От неудач, бедняк, не плачь,
 Стой твердо пред бедой,
Железом, сталью закались
И жгучим горем поделись
 С невестой молодой!
Но где ж она? Погребена...
 Над ней сосновый крест...
Чтоб злое горе утопить,
Давайте пить, давайте пить
 За здравие невест!

К друзьям иди, на их груди
 Согрейся, отдохни!
Но отвернулись все друзья,
И, будто важные князья,
 Грош кинули они.
Ты этот грош в карман положи,
 На память им владей...
Чтоб злое горе утопить,
Давайте пить, давайте пить
 За дружество людей!

.

И вот еще так горячо
 Я песенку сложил, —
Сложил ее в ночную тьму,
И сам не ведаю, кому
 Я ею услужил.

Она со мной, в душе больной,
Жила уже давно...
Чтоб эту песню заглушить,
Пора до капли осушить
Проклятое вино.

Но приходи ко мне смиренно в час ночной,
Когда роса холодная ложится.

Но приходи ко мне смиренно в час ночной,
Когда в груди моей, иссохнувшей, больной,
Лампада жизни, догорев, затмится.

Приди, приди ко мне под гнетом мрачных дум
На кладбище, в час полночи унылой.
Приди, приди ко мне под гнетом мрачных дум
И вслушайся душой в баюканье и шум
Дремучих елей над моей могилой.

В. Г. КОРОЛЕНКО



А Д А М М И Ц К Е В И Ч



НАД ВОДНЫМ ПРОСТОРОМ...

Над водным простором широким
Построились скалы рядами,
И их отраженья глубоко
В заливе кристальном застыли...

Над водным простором широким
Промчались тучи грядами,
И их отраженья глубоко,
Как призраки дымные, плыли...

Над водным простором широким
Огонь в облаках пробегает,
Дрожит в отраженье глубоком
И, тихо блеснув, угасает...

Опять над заливом день знойный,
И воды, как прежде, спокойны,

В душе моей так же печально,
И глубь ее так же кристальна...
И так же я скал избегаю,
И так же огни отражаю...

Тем скалам — остаться здесь вечно,
Тем тучам — лить дождь бесконечно...
И молниям на миг разгораться...
Ладье моей — вечно скитаться.

С. Я. НАДСОН



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



БЕДУИН

Так десять дней прошло, и только небо знало,
Как были тягостны нам эти десять дней:
То на душе у нас надежда расцветала,
То жгучий страх вставал за остальных детей.
Но смерть щадила нас... смолкали опасенья,
Смолкала скорбь в груди — и ангел утешенья
В печальный мой шатер с улыбкою слетел.
И снова вечером вокруг меня с женою,
Когда наш огонек едва блистает с мглою,
Беспечный детский смех струился и звенел...
Но, видно, божий гнев, как вихрь неукротимый,
Как смерч губительный, карать не уставал;
Я помню страшный час, когда мой сын любимый,
Мой младший сын, как брат, бледнел и угасал.

Еще смеялся он, — а смерть уже летала
Над ним и холодом дышала на него,
И гнойные уста с насмешкою вонзала
В дрожащие уста малютки моего!..
Я первый увидал на нем лобзанья..
Я крикнул: «Смерть в шатре!» — и сына я
схватил
И вынес в степь, и там, безумный от страданья,
На землю знойную, рыдая, опустил.
Спасенья не было... охваченный недугом,
Уж задыхался он — и задыхался я..
Верблюды умные, столпившись тесным кругом,
Смотрели на меня и на мое дитя.
А из-за пальм луна торжественно вставала,
Сверкая, как всегда, бездушной красотой,
И мягким отблеском с лазури озаряла
И пальмы, и пески, и труп его немой!..

А. П. КОЛТОНОВСКИЙ



МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ



СТАХ

Как король шел на войну
В чужедальнюю страну,
Зазвенели трубы медные
На потехи на победные.

А как Стах шел на войну
В чужедальнюю страну,
Зашумела рожь по полюшку,
На кручину, на недолюшку...

Свищут пули на войне,
Бродит смерть в дыму, в огне,
Тешат взор вожди отважные,
Стонут ратники сермяжные.

Бой умолк; труба гремит,
С тяжелой раной Стах лежит,
А король стезей кровавою
Возвращается со славою.

И навстречу у ворот
Шумно высыпал народ,
Дрогнул замок града стольного
От трезвона колокольного.

А как лег в могилу Стах,
Ветер песню спел в кустах
И звонил, летя дубровами,
Колокольцами лиловыми...

К. Д. БАЛЬМОНТ



А Д А М М И Ц К Е В И Ч



ЗАБЫТЫЙ ХРАМ

Несчастен — кто, любя, любим не может быть,
Несчастнее его — кто, не любя, томится,
Но всех несчастней тот, кто к счастью
не стремится —
Кто больше никогда не в силах полюбить.

Чуть страстью перед ним вакханка загорится,
Он, вспомнив прошлое, спугнет свои мечты,
А перед ангелом любви и чистоты
С расцветшею душой не смеет преклониться.

То он винит себя, то он других винит;
Перед простушкой — горд, богини он робеет;
И вечно он «прости» надежде говорит.

Так видим мы порой — забытый храм стоит;
В нем пусто и темно, в нем вечно сумрак веет,
В нем бог не хочет жить, а человек не смеет.

ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



МАТЬ

В темнотах материнский вижу лик.
К вратам из радуги идет. Горит долина.
Но смотрит через плечо она, в тот
вышний миг,
И там в глазах видать — глядит она
на сына.



О НЕСЧАСТЛИВАЯ...

О несчастливая, кого благословляю,
К тебе, о родина, наперекор судьбе,
Еще я крестные объятья простираю,
И все ж спокоен, ибо знаю,
Что солнце жизни носишь ты в себе.

И. А. БУНИН



АДАМ МИЦКЕВИЧ



АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

Выходим на простор степного океана.
Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна.

Темнеет. Впереди — ни шляха, ни кургана;
Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод;
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине,
Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет,

Как где-то скользкий уж, шурша, в бурьян
ползет.
Так ухо звука ждет, что можно бы слышать
И зов с Литвы... Но в путь! Никто не позовет!



АЛУШТА НОЧЬЮ

Повеял ветерок, прохладой лаская,
Светильник мира пал с небес на Чатырдаг,
Разбился, расточил багрянец на скалах
И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая.

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне, журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов — дыханье роз в садах —
Беззвучной музыкой плывет, благоухая.

Дремлю под темными крылами тишины;
Вдруг метеор блеснул — и, ослепляя взоры,
Потопом золота залил леса и горы.

Ночь! одалиска ночь! Ты навеваешь сны,
Ты гасишь лаской страсть, но лишь она
утихнет —
Твой искрометный взор тотчас же снова
вспыхнет!

АДАМ АСНЫК



* * *

Без слов мы навсегда простилися с тобою,
Все речи я сберег в душевной глубине,
Я говорить не мог... Но сердца нет со мною —
Оно теперь с тобой в далекой стороне.

Белеет домик твой под крышею родною,
Поют там соловьи так звонко по весне...
Я отделен от вас страданьем и тоскою,
И дом мой далеко, и нет возврата мне...

Так больно было мне остаться без ответа!
Но все-таки я рад, что ясного рассвета,
Что жизнь твою не буду омрачать, —

Она с небес идет с улыбкой молодою,
А я прощаюсь с последнею зарею,
Иду во тьму — и не вернусь опять!..

ГЕРАКЛ

I

Предание его Гераклом называет...
Но как поэт героя назовет, —
Того, кто отдыху и радости не знает
И вечный труд без ропота несет?..

Тяжелой шкурой льва он плечи покрывает
И в ней, как царь властительный, идет;
Но чаще он молчит, и очи опускает,
И кандалы сам на себя кует.

Он страшен и могуч с дубиной исполина,
Но, как дитя, молчит пред взором господина,
Он перед ним — покорный раб немой,

Он, трепеща, спешит исполнить приказанье
И слышит смех обидный за собой,
В конюшнях Авгия работая в молчанье.

II

Но и другой он принимает вид —
И муза за него краснеет от смущенья...
Он терпелив, но дух его скорбит,
Растет, растет в груди сокрытое мученье.

И вот пора! — Он забывает стыд,
Свою судьбу, позор и годы униженья, —
В безумной оргии и диком опьяненье
Огонь в груди он загасить спешит.

Труды тяжелые, которые веками
Он исполнял, как раб, своими же руками
Нередко губит в несколько минут...

Но гаснет бешенство, проходит гнев упорный.
И в тишине свой богатырский труд
Он начинает вновь, безмолвный и покорный.

III

Еще себя не сознавая сам,
Он и гигантских сил своих не понимает, —
Войдет в костер без мысли, что к богам,
Как равный им, как бог, из пламени вступает.

Не знает он, что всем своим врагам,
Своим гонителям тревожный страх вселяет,
Что весь Олимп от ярости пылает,
Дивясь его победам и трудам.

Бессильные враги и жалкие преграды!
Пусть на пути его шипят и выются гады

И встанет гидра с сотнями голов, —
Он с каждым днем растет, он с каждым днем
сильнее,
Он разобьет при грохоте громов
Тяжелые оковы Прометея!



АСТРЫ

Все поблекло... Только астры
Серебристые остались, —
Под холодным синим небом
Замечтались...

Грустно я встречаю осень...
Ах, не так, как в дни былые!
Так же вянут, блекнут листья
Золотые,

Так же месячные ночи
Веют кроткой тишиною
И шумит в аллеях ветер
Надо мною...

Но уж нет в душе печальной
Тех восторгов, тех волнений,

Что, как солнце, озаряли
День осенний.

Помню милый, бледный облик,
Локоп нежный и волнистый,
В черных косах — венчик астры
Серебристый...

Помню очи... Вижу снова
Эти ласковые очи...
Все воскресло в лунном блеске —
В блеске ночи!



ЛИЛИИ

Золотые кудри в косы
Панночка плетет;
Заплетаючи, в раздумье
Песенку поет:

Темной ночью белых лилий
Сон неясный тих.
Ветерок ночной прохладой
Обвевае их.

Ночь их чашечки закрыла,
Ночь хранит цветы

В одеянии невинной,
Чистой красоты,

И сказала: спите, спите
В этот тихий час!
День настанет — солнца пламень
Сгубит, сгубит вас!

Дня не ждите, — бесконечен
Знойный день, а сон,
Счастья сон недолговечен
И умчится он.

Но, таинственно впивая
Холодок ночной,
К солнцу тянутся, к востоку,
Лилии с тоской.

Ждут, чтоб солнце блеском алым
И теплом своим
Нежно белые бокалы
Растворило им.

И напрасно ночь лелеет
Каждый лепесток —
Грезит девушка о милом,
Солнца ждет цветок!

В. Я. БРЮСОВ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



* * *

Когда пролетных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путем к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснет моей судьбе,
На крыльях радости промчусь я быстро с юга
Опять на север, вновь к тебе!

ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



ГИМН

Грустно мне, боже! Являя заходы,
Ты для меня теплишь радуг сиянья;
Гасишь, склоняя в лазурные воды,
Звезд трепетанья;
Ты золотишь твердь и небо... И что же?
Грустно мне, боже!

Колос пустой, я вздымаюсь высоко,
Роскоши чужд и довольства не зная.
Пусть для чужих мое строгое око —
Тишь голубая;
Но пред тобой сердце вскрою я все же:
Грустно мне, боже!

Словно ребенок, взроптавший на ласки
Матери нежной, — клянуп я, печальный,
Солнце, что мечет в закатные краски
Луч свой прощальный.

Хоть оно завтра восстанет все то же, —
Грустно мне, боже!

Нынче, на море великом затерян,
Сто миль от берега и столько ж до берега,
Видел я аистов... Путь их был верен,
Путь до ночлега.
В польской земле мне встречать их дороже!
Грустно мне, боже!

Ах! что я часто мечтал на могилах,
Что я не видел родимого дома,
Что уставал я в скитаньях унылых,
С грохотом грома,
Что на чужбине умру, как прохожий, —
Грустно мне, боже!

Нет, я не лягу, немой и безгласный,
Спать под плитою с надгробьем умильным!
Тот я, кто должен завидовать страстно
Прахам могильным!
Впрочем... что скажет мне смертное ложе?
Грустно мне, боже!

Дети на родине молятся нежно
Все обо мне ежедневно... О дети!
Челн мой не к родине, в бездне безбрежной,
Мчится на свете!

Тщетно мольбы вам шептать, в детской
дрожи!

Грустно мне, боже!

Радугу видя, что в яркости света
Ангелы в небе твои разостлали,
И чрез сто лет умирать будут, где-то
Люди в печали!

Вижу ничтожество наше все строже.
Грустно мне, боже!

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ



ВАЦЛАВ СВЕНЦИЦКИЙ



ВАРШАВЯНКА

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Но мы подыдем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?

В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песней победной
Станут священны миллионам людей.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.

Мечь беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

БОЛЕСЛАВ ЧЕРВЕНСКИЙ



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд!

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет
И несет клич борьбы, мести гром,
 Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет —
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

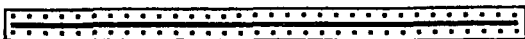
Пусть слуги тьмы хотят насильно
Связать разорванную сеть,
Слепое зло падет бессильно,
Добро не может умереть!

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет
И несет клич борьбы, мести гром,
 Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет —
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

Долой тиранов! Прочь оковы,
Не нужно старых, рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет
И несет клич борьбы, мести гром,
 Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет —
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем.

С. М. ГОРОДЕЦКИЙ



ЯН КАСПРОВИЧ



Было поле, продала и поле —
Град, бездожде гнев наслал небесный,
Кубу гроб давно упрятал тесный,
Чем платить, когда нет хлеба боле?

Распрощалась, плача, с этим полем,
Дочек — в услужение, болезных,
И ушла в лохмотьях затрапезных
Вдаль, куда глаза глядят, за долей.

Ходит от села к селу без крова,
Там найметя в жницы, тут стирает,
Свежесть пропадает, сила тает.

Вот и старость на нее напала.
Побиралась именем Христовым...
И сегодня мертвой наземь пала.

* * *

Свет печурки в избушке мерцает.
В полумраке картина предстала:
По стенам две постели. Устало
Дед в углу поминанья читает.

Дети тюрки остатки хлебают:
Двух годочков и трехгодовалый.
Зыбку с девочкой, самую малой,
Мать, в дремоте склонившись, качает.

Где ж отец?.. Он на фабрике. К ночи
На село из далекой дороги
Ждут его... Уж прийти надо было...

Ведь уж поздно, от сна липнут очи...
Ах! а может быть... Боже помилуй!..
Оторвало машиною ноги...

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН



СВИДРИГА И МИДРИГА

То не кони, вздыбив уши, вскачь пошли,
запрыгав,
Это пляшут двое пьяных — Свидрига
с Мидригой.

То не ток там стонет под тяжелыми цепами, —
Стонет луг, избит ногами злей, чем кулаками.

Их на солнышке Полудница поймала
взглядом,
И Свидриге, и Мидриге, и той пляске рада.

Им в глаза взглянула жадно, бледная, шальная:
— Кто кого перетанцует? На двоих одна я!

— Мне, — сказал Свидрига, — эту шею, эти
груди! —
А Мидрига в спор: — Моей ты иль ничьей ты
будешь!

И одну ладонь один, другой другую тянет:
— На двоих, скупая девка, разве сил не станет?

А она им прямо в губы жарким вздохом
рвется,
А она им прямо в очи, не смеясь, смеется.

И распалась пополам пред ними, на двух
девок,
На сестер — одна направо, а другая слева.

— На лугу нам эта двойня не плохой подарок!
Так пляшите ж, девки, с нами, пока полдень
ярок!

— У одной две пары рук, две пары ног, как
видно!
Напои же до конца нас сладостью бесстыдной!

Как в бою, готовы в пляске выказать геройство,
Прибавлять цветам тревогу, лугу —
беспокойство.

Заплясал Мидрига с левой, а Свидрига
с правой,
Пыль столбом под каблуками поднялась
на славу.

Разойдутся, и сойдутся, и опять сначала,
Топчут травку, топчут мяту, топчут клевер
алый.

— Чтоб ты сдох! — кричит один. Другой:
— Ты сам подохнешь!
Прямо насмерть расплясались — упадешь,
не охнешь!

Так плясали, что свалилась девка без кровинки.
Умерла и та и эта — обе половинки!

— Что ж! Схороним! Одинокой хорониться
тяжко,
А она плясала двойней, умерла двояшкой!

— Похороним на погосте, в рощице кудрявой,
Отпоем обеих — левую совместно с правой!

В двух гробах похоронили, но в одной могиле.
Гул пошел в земле — два гроба сразу в пляс
пустились.

Пляшут, сытые телами, пляшут в дикой
страсти.

И в своей веселой пляске раскрывают пасти.

Вихрем мчатся — и доска о доску застучала —
Разойдутся, и сойдутся, и опять сначала.

Вьются так, что смерть сама за ними пляшет-
плачет,
Так, что все нутро погоста от испуга скачет.

Так, что в смертном хороводе пляска потонула:
Так, что стало под землю буйно от разгула.

Так, что разум потеряли Свидрига с Мидригой,
Будто вихрь крылами мельницы его раздрыгал.

Не понять сознаньем помраченным, как
спросонка,
Где ж на свете правая, где левая сторонка?

Где гроб левой девки, а где правой —
не понять им,
И кому какая в смерти попадет в объятья?

В зачарованных глазах их так весь мир
запрыгал,
Что не знают, кто Свидрига, кто из них
Мидрига.

И урчит им смерть из черной от бездонья
бездны:
— Будет здесь, как дома, славно вам,
любезным!

Гроб тому и гроб другому, нет в гробах
отказа,
В том моргает вечность правым, в этом —
левым глазом!

Наклонились два безумца, пропасть озирая,
Заплясали на коленях, по-над самым краем.

Заплясали на корячках, заплясали лежа,
Так и этак, так и этак, и опять все то же.

Как две щепки, вихрем лютым ввержены
в два гроба,
Полетели вверх ногами в бездну смерти оба.



В ПОЛЕ

Нас только двое в затишье уютном.
Льетса ручей, ослепленный лучами.
Листик, несомый волною попутной,
Мчит стрекозу с голубыми крылами.

Гнется тростник и свое отраженье
Колет стеблем, поседевшим от зноя.
Пухнет улитка в полдневном томленьи,
Дом свой к листу прикрепляя слюною.

Стайки плотвы серебристой взлетают,
Тотчас ныряя под гибкие стебли.
Видишь, песок под водою сверкает,
Мшистые бороды камни колеблют.

Что ж ты лицо уронила в ладони?
Не оттого ль, что песок, мелководье,
Зеркало волн и тростник утомленный —
Все тишиной и прохладой исходит?

Иль оттого, что дубы без движенья
Кружево листьев, изъеденных жадно
Гусениц ртами, над собственной тенью
Молча склоняют к траве ароматной?

Я этой тени волшебную нежность
К сердцу прижму, где цветы не завяли.
Я зацелую зеленую свежесть
Трав полевых, что о нас стосковались.

Жарким лицом я прильну к повилике,
Звонких шмелей залюбуюсь игрою.
Буду смотреть, как сочатся гвоздики
В золоте лютиков липкой смолою.

Буду смотреть я, как маки пьянеют,
Смятые тел наших юной истомой.
Белой рукой твоей буду лелеять
Перья травы, нам еще незнакомой.

С. Я. МАРШАК



СТЕФАН ВИТВИЦКИЙ



ГУЛЯНКА

Эй, шинкарка-медоварка,
Брось шутить со мной!
Столько меду льешь, как воду,
На кафтан цветной!

Не спущу я, расцелую,
Что за глазки, бровь!
Алы губки, белы зубки
Так и жгут мне кровь.

Черт с нуждою и бедою —
Бедным счастья нет.
Брось досаду, выпить надо.
К черту этот свет!

Спать нам рано, мы и спяну
До дому дойдем.
Где у женки голос звонкий,
Там и есть наш дом.

Пейте, братцы, или драться
Я с любым готов.
Эй, хозяйка, разливай-ка
Медом удальцов!

ЮЛИАН ТУВИМ



ЗНАМЯ

Правда, правда, Ян мой Чернолесский,
Что сердца растут с такими днями.
Города шумят веселым плеском
Нашей крови, красной, точно знамя.

Где б нашел я музу, кроме этой,
Боевой, веселой, голосистой?
Нет среди руин другого цвета,
Только этот плющ багрянолистый.

Потому-то я расту с Варшавой,
Поднимаюсь вместе с этажами
И весну отчизны величавой
Возношу над веком, словно знамя.

Это знамя шар земной обвило,
Вдоль ведет нас шагом исполина.
И куда б рука древко ни вбила,
Там и будет мира середина!

СТОЛ

Выросло дерево
В нашем Полесье,
Статное, рослое —
До поднебесья.
Хлопцам пришлось
Поработать немало,
Прежде чем дерево
Наземь упало.

Добрые кони,
В пене и мыле,
На лесопилку
Его притащили.

Пилы его распилили
На доски,
Зубья погнули
О ствол его жесткий

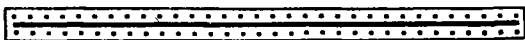
Доски и планки
Были шершавы.
Взял их в работу
Столяр из Варшавы.

Опытный мастер,
Адам Вишне夫斯基,
Ладил рубанки,
Пилы, стамески.

Долго строгал он,
Клеил, буравил,
Прежде чем славный
Стол этот справил.

Вот сколько нужно
Трудного дела,
Чтоб за столом
Ваша милость сидела!

Н. Н. АСЕЕВ



А Д А М М И Ц К Е В И Ч



ПЕСНЯ ФИЛАРЕТОВ

Эй, больше в жизни жара!
Живем один лишь раз:
Пусть золотая чара
Недаром манит нас.

Живей пускай по кругу
Веселых дней подругу!
Хватай и наклоняй до дна,
Чтоб жизни глубь была видна!

К чему здесь речь чужая?
Ведь польский пьем мы мед;
Нас всех дружнее сближает
Песнь, что поет народ.

У древних нам учиться —
Не в книжном прахе гнить:
Как греки — веселиться,
Как римляне — рубить.

Вот там юристы сели,
И им бокал поставь:
Сегодня — право силы,
А завтра — сила прав.

Сегодня громогласье
Свободе невдомек:
Где дружба и согласие, —
Молчок, друзья, молчок!

Кто гнет металл и плавит —
Тот плавит времена;
Нам, чтоб его прославить,
Пусть Бахус даст вина!

Тому из мудрых слава,
Кто в химии знал вкус:
Тончайшего состава
Пил мед любимых уст.

Измеривший дороги,
Пути небесных тел,
Был Архимед убогим:
Опоры не имел.

А нынче, если двигать
Задумал мир Ньютон,
У нас пусть спросит выход —
И этим кончит он.

Чертеж небесной сферы
Для мертвых дан светил,
Для нас же — сила веры
Вернее меры сил.

Затем, что — где пылает
Порывов сердца дух,
Зря мерку снять желают!
Единство — больше двух!

Эй, больше в жизни жара!
Живем ведь только раз:
Вот золотая чара,
Не медли, дорог час.

Кровь стынет в бедном теле,
Поглотит вечность нас,
И взор затмится Фели, —
Вот филаретов сказ.

ПЕСНЯ

(Из поэмы «Конрад Валленрод»)

Вилия — мать родников наших чистых,
Вид ее светел и дно золотисто,
Но у литвинки, склоненной над нею,
Сердце бездонней и очи синее.

Вилия в свежих приковенских склонах,
Среди тюльпанов и роз благовонных;
У ног литвинки — юноши наши,
Роз и тюльпанов стройнее и краше.

Вилия мимо цветов протекает,
К Неману вечно стремиться готова,
Так и литвинка своих избегает,
Юношу предпочитая чужого.

Вилия, встречена сумрачным валом,
Бурно объята в объятьях железных,
Мчится с ним к морю, мчится с ним
к скалам —
И исчезает в открывшихся безднах.

Так и тебя, о литвинка, скиталец
В даль оторвал от родного порога!
В море житейском, грустя и печалась,
Тонешь ты горестно и одиноко.

Сердцу и струям указывать тщетно!
Девушка любит, Вилия мчится.
Вилия к Неману льнет беззаветно,
Девушка в башне угрюмой томится.

ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



ГИМН

Грустно мне, боже! Ты предо мною
Краски заката разбрызгал лучами,
Гасишь лазоревой шумной волною
Звездное пламя,
Небо и море златишь мне, — и все же
Грустно мне, боже!

Голову вскинув, как колос без зерен,
Встал я, довольством и ленью изнежен.
Вид мой обычен для чуждого взора
И безмятежен.
Ты лишь узнаешь, что сердце тревожит, —
Грустно мне, боже!

Как уходящую мать провожает
Плачем ребенок, — я близок рыданью,
Глядя, как солнце с волны мне бросает
Луч расставанья.

Пусть оно завтра сиянье умножит,
Грустно мне, боже!

Я, окруженный морскою пучиной, —
Сто миль от берега, сто миль к другому, —
Видел сегодня полет журавлиный,
Взору знакомый,
Ведь и над Польшей я видел их тоже, —
Грустно мне, боже!

То, что о смерти я думал так много;
То, что не знал я родимого дома;
Шел я, как странник, тернистой дорогой
Под грохот грома;
То, что не знаешь, где голову сложишь, —
Грустно мне, боже!

Будут лежать мои белые кости
Не под гранитной плитой, истлевая.
К тем, кто могилу нашел на погосте, —
Зависть питаю.
Мне суждено беспокойное ложе, —
Грустно мне, боже!

Часто на родине молится кротко
Чистый ребенок, мой путь охраняя;
Но не к отчизне плывет моя лодка,
В мире блуждая.

Видно, молитва помочь мне не может, —
Грустно мне, боже!

В небе горящие радуги эти,
Краски заката, подобные чаду,
Новые люди и через столетье
Видеть здесь будут.

Пока не смирюсь, что исчезну я тоже, —
Грустно мне, боже!

ЮЛИАН ТУВИМ



МУЗА, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Не ищите яркость слова,
Обложившись словарями, —
В сад густой вернитесь снова,
В сад, гремящий соловьями.

Там по-старому запойте,
Загрустив по-молодому.
Весь в невесть какой заботе,
Я иду к нему, как к дому.

Трепет трав, деревья, трели —
Те слова не увядают,
Нет, они не постарели —
Соловьи еще рыдают.

Там нас встретит тень любимой.
Как ей сладко было клясться
Той порой невозвратимой —
Лет тому назад пятнадцать.

Нежный образ, светлый облик,
Ты, что в песнь вложила слово, —
Вновь влюбленных, чистых, добрых
Ты нас здесь встречаешь снова.

Ночь в сирени, звук свирели,
Звезды плавают в фонтане...
Так летите ж, эти трели,
К милой Музе, к светлой Панне.



КАМЫШИ

Над водою тянуло мятой.
Плыл рассвет над водой, розовея,
Камышей густых ароматом
Свежесть вод вместе с мятой веяла.

Я не думал тогда, что травы
Превратятся в стихи с годами,
Что в словах я лишь буду их славить,
А не жить и дышать меж цветами.

Я не знал, что такая мука
Поиск слов для живого мира,
Я не знал, что цветов наука
Учит долу склоняться сирю.

Только знал я, камыш сплетая,
Что силков никому не готовлю,
Ни за кем не пойду на ловлю,
Что легка моя сеть витая.

Лет беззлобных великий боже,
Бог мальчишеского рассвета,
Неужели ж не будет больше
Веять мятой и тишью лета?

Неужели ж всегда и всюду,
Лишь в словах ища отраженья,
Никогда я видеть не буду
Камышей живого движенья?



СИРЕНЬ

Нарвали сирени, набрали,
Награбили, наломали,
Накрали душистой, росистой,
Лиловой и белой, лучистой.

Цветов в ней и листьев без счету,
Считать потеряешь охоту.
Топорщится, жметя, теснится —
А в гуще — поющая птица.

Которая становилась смертью,
И дышал горечью гари, словно жертвы
Спаленною шерстью,
И когда по лестнице дыма
Уже в небеса подымалась Варшава,
Чтобы дальним прапоколениям
В вышине
Засиять каким-нибудь жарким созвездьем,
Огневою легендой,
А здесь пребывать погаснувшим кратером,
Жерлом вулкана, до дна истекшего кровью, —
Восемнадцатого января тысяча девятьсот сорок
пятого года

На углу Руин и Конца,
На углу Разрушений и Смерти,
На углу Развалин и Ужаса,
На углу Маршалковской и Ерусалимской,
Что пали друг к другу в пламенные объятия,
Прощаясь навеки, обжигаясь поцелуями, —
Появилась плотная варшавская бабенка,
Бессмертная гражданочка, повязанная шалью,
Поставила вверх дном ящик на развалинах,
Подперла его метеором — головешкой
сгоревшего города —

И призвала бессмертия голосом:

— Чаю, чаю

Со свежим печеньем! —

Я не видел ее, но я вижу

Слез бесшумный ручей

Из ее, несмотря ни на что, улыбающихся очей.

Она могла бы предстать тоскующей Ниобеей,

Пророчицей древней, женой Иова,

Рахилью, оплакивающей детей, —

И так же бы ей поверили.

Могла бы ведьмой слететь на метле,

Или оборотнем в кипящем котле

Испепеленного дня —

И так же бы ей поверили.

Могла бы стать Петра Великого тенью, —

В пафос ямбов построив слова,

Сказать, что здесь встанет город из развалин

«Назло надменному соседу», —

И тоже была бы права...

Могла бы на ящике стать монументом

В классической позе и продекламировать:

«Per me se va nella citta dolente»¹.

И никто бы не удивился.

Ах, могла бы, в конце концов, — Клио не Клио,

Ливнем в юбке

В столице вымершей сесть на приступке

И любым гвоздем на любом кирпиче

¹ «Через меня лежит путь к городу страданий» — из «Божественной комедии» Данте.

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



14 АПРЕЛЯ

*Памяти
Владимира Маяковского*

По ту сторону радости
Ждут усталость и смерть.
Всею жизни громадой
Их значенье измерь.

Но, из сумрака вышедши,
Прогремит оратория,
В небо взвита выше, чем
Черный дым крематория.

Пусть нам слово, как радий,
Прожигает сердца.
Слава павшим собратьям,
Нам же — путь без конца!

ВИСЛА

(Фрагменты из поэмы)

* * *

Ты не спрашивай, дочка, где папа,
когда папы не будет.

Наша Польша словами богата,
а в словах жить я буду повсюду.

Проплыви от истоков до устья
Вислы великой,
не одно — то с весельем, то с грустью —
тебя окликнет.

А когда доплывешь до слиянья
Вислы с морем,
скажешь: «Здесь истории грани,
их достиг и отец.. быть может?»

Я не Сментек, я не Жеромский,
не Фантазий и не Мечтатель.
Я лишь камень свободы польской,
что в траншеи небо метало.

И я в Польше шагами мерными
иду с народом моим,
с каменщиками, с инженерами
передовым!

Почему же — передовым? Потому что,
кто первым громом
был свободу прославить призван,
кто в борьбе звал звуком громовым,
тот народом и будет признан.



* * *

Тополя... Если бы шум один листьев
услыхал от них я,
ничего бы из стихов не вышло,
вместе с ветром бы стих я.

Одинокий я шел бы, лишний,
к истощению мысли,
к омелению Вислы.

Тополя мне такие в Варшаве
шелестели,
под которыми гибли отцы наши в славе
в Цитадели.

И шумят тополя, как когда-то
над ними,
знаменуя их муки и горечь утраты
памятниками живыми.

Птичьи стаи над ними летают
вверху беззаботно...
Так должно было стать —
ведь пришла свобода.

А. А. АХМАТОВА



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



В АЛЬБОМ МАРИИ ВОДЗИНСКОЙ

Были вместе они там, где снежной короной
Гребни гор серебрились; где волею божьей
Стены хижин белели у горных подножий;
Где отары, звеня, поднимались на склоны;
Где с обрывов крутых водопады срывались;
Где на срубленных соснах кричали вороны...
Там они были вместе и там же расстались.

Через годы скитальцы дождались возврата,
И встречала их рожь, васильками кивая;
Сына мать обняла, сестры обняли брата.
Всем под кровлей родной светит радость
живая.

Все за общим столом, все по-прежнему в сборе,

И наполнились чаши, и счастья избыток...
Нет разлуки, исчезло вчерашнее горе.
Все собрались, и нет лишь навеки забытых.

Молодая Мария улыбки не прячет,
Просит лютню настроить и шепчет соседу:
«Не хватает кого-то...» Но праздник уж начат,
Загремела мазурка, вторгаясь в беседу.
«Да, он умер», — сосед отвечает. «Так, значит,
Он лежит в тишине?» — «Нет, рыдают до свету
Соловьи на березе, и чудится — плачет
Над могилой береза».



В АЛЬБОМ ЗОФЬЕ БОБРОВОЙ

Пусть Зося у меня стихов не просит;
Едва она на родину вернется,
Любой цветок прочтет канцону Зосе,
Звезда любая песней отзовется.
Внемли цветам, согретым знойным летом,
И звездам — это лучшие поэты.

У них давно приветствие готово;
Внемли же их напевам чудотворным;

Мне любо повторять их слово в слово,
Я был лишь их учеником покорным.
Ведь там, где волны Иквы льются звонко,
Когда-то я, как Зося, был ребенком.

Мое никак не кончится скитанье,
Все дальше гонит рок неотвратимый...
О, привези мне наших звезд сиянье,
Верни мне запахи цветов родимых.
Ожить, помолодеть душою мне бы!
Вернись ко мне из Польши, будто с неба.

ЮЛИАН ТУВИМ



СЧАСТЬЕ

Мне стали безразличны
Большие города:
Они не больше скажут,
Чем эта лебеда.

Мне безразличны люди
С их тысячью наук:
Годится первый встречный,
Чтоб с ним делить досуг.

Мне безразличны книги, —
Хоть смейтесь надо мной, —
Я и без книг дознался,
Что значит путь земной.

В тенистой тихой чаще
Я понял счастье жить.
О боже! Как за это
Тебя благодарить!

ТЫ

Ты — связь моя с землею,
Небесная отрада,
Ты — все на белом свете,
К чему стремиться надо.

И лишь тебя я знаю,
Лишь ты мне благодатна.
На мир махнул рукою —
Мне все там непонятно.

Там что ни мысль — пучина,
И что ни шаг — распутье.
Молчишь ли, говоришь ли —
Ты прояснение сути.

Твое лишь слышу сердце
С его кипучей кровью
И в жизни, полной смерти,
Единой жив любовью.



ЦЫГАНСКАЯ БИБЛИЯ

Что цыганскою библией стало —
Колдовскою, изустной, бездомной?..
Только бабам напев ее темный
Шепчет ночь на Ивана Купала.

В этой книге — дыханье нарда,
Шелест леса, гаданье по звездам,
Тень могил, пятьдесят две карты,
Белый призрак, что век не опознан.

Кто открыл ее? Мы, книгознаи,
Роясь в памяти — в древнем хламе.
Лишь догадкой, владеющей нами,
В сердцевину страстей проникая...

А легенда путями кривыми
В темном знанье, как речка, петляет,
Не по жизни и смерти — меж ними,
Но и жизнью и смертью пленяет.

Лишь догадкой, как сновиденья,
Перелистываются страницы,
И над книгой, в полуночном бденье,
Льют слезу восковую громницы.

А стихи — только чудятся где-то
В огневом и мгновенном звучанье —
Это нечто о муках поэта,
Что несет избавленье...

Но меркнут страницы в тумане.

ОЛЕНЬ

В чаще стук, и не дятел стучит,
Не топор; словно призрак, в чаще
Так проносит олень свой щит
Над челом — из ветвей стучащих.

Задевают о каждый ствол,
Схожи с арфой и манят светом.
Прихожане лесные, в костел
За оленем ступайте следом!

Гулкий стук все слышней, все звучней,
Пробуждается нечисть лесная —
Толпы леших, тени ветвей,
Привиденья, сквозь лес проплывая.

Виден блеск алтаря сквозь лес
И молитвы туманных чудес.
Гром и трепет вскипают в пене
На цветущей арфе оленя.



ПРОСЬБА О ПУСТЫНЕ

Уже мне звезд не видно снизу,
Небесная поблекла синь.
О вседержитель! Дай мне визу
В пустынной из пустынь.

Чтоб, не грустя, не презирая,
С любовью очи я возвел
В те дали без конца и края,
В сиявший истиной костел.

Чтоб приближение шакала,
Мне братом ставшего теперь,
Ворчаньем теплым обдавало,
Когда дохнет на стужу зверь.

А я — кто вечно в путь стремится —
В сиянье бледного венца
Найду забытую страницу,
Где Сын погибнет от Отца.

Средь ночи зверь людей разбудит —
Завыл, заплакал, зарыдал...
Он понял все и не забудет,
Мой брат теперешний — шакал.

Он новые, иные очи
В меня устави́т, не боясь,
И из пустынной чистой ночи
Падет звезда, не раздробясь.

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ

●

WARUM? ¹

Нет больше слов. Ни одного...
А было их — не сосчитать.
Откуда ж радость? Отчего
так страшно за нее опять?

Опять, как много дней назад,
трепещет сердце ночь и день,
и слезы блещут и кипят,
как наша польская сирень!

И нежность вновь. И моря шум.
И молчаливый лунный свет.
На шумановское «Warum?»
«Люблю...» — чуть слышный твой

ответ.

¹ Почему? (нем.)

И нужно ль было столько мук
и столько вспышек грозowych,
когда прикосновенье рук
так много значит для двоих?



ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Может, любила ты... Но не так,
не с той силою.
Вместе мы шли с тобой, но не в такт...
Прости, милая!..

Год буду помнить... Еще год...
Боль притупится.
Справим же тризну, пока трясет
огневица.

Нет, ты стиха поминальный звон
слышишь едва ли?
Мелкое чувство — из сердца вон!
Идешь далее.

Что мне осталось с этого дня,
если тебя нет?..
Только — поэзия. Та меня
не обманет.

Что мне осталось?... Грусть за двоих...
Твой след потерял.
Только лишь грусть. Только мой стих...
Он мне верен.



ЗЕЛЕНое СТИХОТВОРЕНИЕ

Мало мне нужно на свете:
тебя и ветви,
чтобы в оконной раме
качнулись, зазеленев,
чтоб я писал стихами
о том, что... каждый нерв,
каждый миг одиночества,
боль, — ее пульс частый, —
злое таит пророчество,
шепчет: несчастный...

Мало мне нужно на свете:
но это — весь свет, может статься! —
тебя,
зеленые ветви,
и чтоб в листьях акаций
ветер шуршал, рябя,
и чтобы на сердце — покой,

и чтоб котенок стал занавеской играть,
а мне — сидеть на крылечке день-
денской
и ничего не знать.

Все я напутал,
это — неправда, как будто...
Но отчего так больно, так больно?..
Верно, я больше уже ничего не скажу,
верно, я в грозную тишь ухожу
неволью.

Мало мне нужно на свете:
тебя и зеленые ветви.



СЧАСТЬЕ

Со встречи той вечерней
мне кажется все чаще,
что счастье мое, верно, —
зеленое, как чаща.

Пусть вьется эта зелень
ночей моих бессонных,
пьянит меня, как зелье
очей твоих зеленых.

Пусть я на дне пребуду,
где плавает в молчанье
чешуйчатое чудо
с зелеными очами,
зелеными до дрожи...
Где все на сон похоже.

Пред сном, хоть по ошибке,
прочти придумку эту...
Что — счастье?..
Дар улыбки
взамен на дар поэта.

МАРИЯ
ПАВЛИКОВСКАЯ-ЯСНОЖЕВСКАЯ



ПЕРНАТЫЙ

Идиот — пернатый —
Глуп до неприличья,
Маковкой головка,
Пестрая каемка —
Враг кота заклятый,
Пять своих яичек
Сохранивший ловко,
В них — глупцы потомки!
Прижимаясь к ветке
Боком рыже-синим,
В спор ввязался едкий
Со вторым кретином,
И поет, поет он
Глупости без счета.

УРАГАН

Небо в черном гневe.
Толпы туч. Рокот.
Счастливы деревья!
Вышуметься могут!



НИКА

Как схожа ты с Самофракийской Никой,
Любовь отвергнутая и глухая!
Ты вслед бежишь с такой же страстью
дикой,
Обрубленные руки простирая.



ПОДСОЛНЕЧНИК

Дорастаем до твоих познаний,
До высокой мудрости твоей,
О цветок, примером взявший солнце!
Темные, тугие семена
Издавна нам хором предвещали
Солнечное темное ядро,

А корона желтых лепестков —
Фотосферу.
Дикое дыхание корней
Густо обволакивает стебель,
Или, может, это — запах солнца,
Что ты предвкушаешь?..



НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Вот светлый нимб: галактики сиянье.
Песнь соловья — со звездами слиянье,
Прочь от земли стремящаяся трасса...
В жасмине — шелест.
Кошка серой масти
Мечтает:
«Распевающее мясо
Даст знак сейчас — где на него напасть
мне».



СМЕРТЬ КАРИАТИДЫ

Каська, мрамор наш польский,
Брызжет лазурью,
А голова создана для веселого солнца,

Ей же велели терпеть на себе
Безобразье балконца,
Нагроможденье мещанского дома,
Сварливого ада...
Легче балкон удержать,
Чем свое распаленное сердце!
Мрамор слабел и слабел
И рухнул, подточен любовью...
Метлы посмели дотронуться!
Над Кариатидою — Касей
Вслух издевались ступеньки,
Когда она вязла в грязи,
Всеми забытая.

.

Больница,
Касю принявшая,
Белой была и огромной.
Бьется в горячке
Тело богини вчерашней,
И погибает она со словами служанки
всегдашней:

«В погреб уже опускаюсь...
За углем...
Темно мне...»

БЫТЬ ЦВЕТКОМ?

Расцветают. Молча громоздятся
На решетку сада, на шпалеры...
Пленники? Статисты? Декорации?
Так легко их прославлять без меры,
Но цветком быть...



ИВА У ДОРОГИ

Ива Польши, согнутая криво,
Молнии — жесточе раз от разу —
Жгли ее... Но зеленей, чем листья,
Тысячи ветвей ее прямых
Из груди рвались, как стрелы, к выси
В ярости экстаза!..
Сколько чувств тревожит эта ива!
Верит в жизнь она... Поверим тоже.

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ



ЗА ВИНОМ

Взглядом дал ты красоту мне, —
как свою, ее взяла я,
проглотила, как звезду.

И придуманным твореньем
стала я в глазах любимых.
Я танцую и порхаю,
сразу крылья обрета.

Стол как стол, вино — такое ж,
рюмкою осталась рюмка
на столе на настоящем.
Я же выдумана милым
вся, до самой сердцевины,
так, что мне самой смешно.

С ним болтаю как попало
о влюбленных муравьишках
под созвездием гвоздики
и клянусь, что белой розе
петь приходится порой.

И смеюсь, склоняя шею,
так, как будто совершила
я открытие, и танцую,
вся светясь в обличье дивном,
в ослепительной мечте.

Ева — из ребра, Киприда —
из морской соленой пены,
и премудрая Минерва —
из главы отца богов —
были все меня реальней.

Но когда ты взор отводишь,
отраженье на стене я
вновь ищу — и вижу только
гвоздь, где тот висел портрет.

Б. Л. ПАСТЕРНАК



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



ПЕСНЬ ЛИТОВСКОГО ЛЕГИОНА

Ура, да здравствует Литва!
Хвалой ей солнце блещет.
Она жива! Она жива!
Ей тени рукоплещут.
Бульжником по воротам —
В казарменную плесень!

Мы будем мстить за долгий срам
Дождем камней и песен.
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Напрасно праву кулака
Учили нас тевтоны.
Мы будем бить наверняка,
Вступайте в легионы!

Шлют итальянцев усмирять.
Кого оставим охранять
Отцовские могилы?
Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Ольгерд светильник дал послам,
Сказав: «Пока он светит,
Ольгерд осадит вас и сам
Царю войной ответит».
И, выступив вслед за гонцом,
Нагрянул, верный слову,
Как будто с крашеным яйцом
Явившись к дню Христову.
Покажем новому царю
Такое же усердьё.
Врагов народа к фонарю
На память об Ольгерде!

Ударим дружно на врага!
Последуйте зову!

Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

А вам, птенцы военных школ,
В столице Ягеллонов
Букетами прекрасный пол
Усыплет путь с балконов.
При следованье ваших рот
Одушевится глина,
И к вам бойницы повернет
Твердыня Гедимины.
Ударим дружно на врага!
Последуемте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Теперь конец дурной молве
И долготу унынью.
Никто не спросит о Литве,
Жива ль она донныне.
Об этом говорят дела,
А так мала дружина,
Затем что буря у ствола
Оборвала вершину.
Ударим дружно на врага!
Последуемте зову!
Зычней в охотничьи рога
Трубите, звероловы!

Когда раздастся шум знамен,
 Себя забудет всякий.
Тесней сомкнется легион
 И ринется в атаку.
Чем ближе смерть к кому-нибудь,
 Тем перед ней он бравей.
Самопожертвованье — путь
 К непреходящей славе.
Ударим дружно на врага!
 Последуемте зову!
Зычней в охотничьи рога
 Трубите, звероловы!



КУЛИГ

Праздничный поезд мчится стрелою.
В вооружении, вереницей
Мчатся на место жаркого боя
Радостнее, чем в отпуск с позиций.
К дому лесному в чаще нагрянем,
Спящих без платья стащим с кроватей.
Поторопитесь с приодеваньем!
Едемте с нами, время не тратьа!
Сядемте с нами, время не тратьа!
Сядемте в сани, в чем вас застали.

Топают кони, кличут возницы.
Это гулянье на карнавале.
Дальше и дальше, к самой границе!

Двор при дороге. Коней заслыша,
Ночь отзывается тьявканьем песьим.
Не нарушая сна и затишья,
Мигом в безмолвии ноги уносим.

Кони, что птицы. В мыле подруги.
Снежную кромку режут полозья.
В небе ни тучки. В призрачном круге
Месяц свечою стал на морозе.

Редкому спится. Встречные с нами.
Кто б ни попался — тот в хороводе.
Над ездовыми факелов пламя.
Кони, что птицы. В мыле поводья.
Если ж нельзя вам за нездоровьем,
Да не смутит вас пенье петушье.
Мы полукровок не остановим.
Мимо промчимся, сна не наруша.
Нечего думать нам о привале.
Редко какому дома сидится.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте! Постройка. Отсвет кенкетов.
В воздух стреляю вместо пароя.

Тотчас ответный треск пистолетов.
Шляхта справляет свадьбу на воле.
Едемте с нами, шафер и сваты!
Где новобрачный? Кланяйся тестю.
Просим прощенья. Не виноваты.
Наше почтенье милой невесте.
Долгие сборы — лишние слезы.
Без разговоров — разом в дорогу!
Ставь жениховы сани к обозу.
Вышли, махнули шапкой — и трогай!
Едемте с нами, в чем вас застали.
Вихрем несутся кони, как птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте тут, стойте! Снова именье.
Выстрелить, что ли? Тише. Отставить.
Лучше повергнем в недоуменье.
Всюду нахрапом тоже нельзя ведь.
Молча проходим мы по аллеям.
Дом. Занавески черного штофа.
Мы соболезуем и сожалеем.
В доме какая-то катастрофа.
Сборище в зале на панихиде.
Отрок у гроба. Зал в позолоте.
Ах, в опустевшей вотчине сидя,
Сударь бесценный, вы пропадете.
Мы вас увозим. Слушайтесь слепо.

Всех вас, собравшихся к отпеванью,
В траурных лентах черного крепа,
Просим покорно в парные сани.
Едемте с нами, в чем вас застали.
Свищут полозья. Кони, что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе!

Стойте. Усадьба. Память о предках,
Кажется, реет где-то незримо.
Дверь кабинета. Свечи в розетках.
Ломберный столик. Облако дыма.
Карты! К лицу ль это, судари, шляхте
В час, когда зреют судьбы народа?
Цепью стрелковой в поле залягте!
К дьяволу карты! К черту колоды!
Вооружайтесь! Вон из трущобы!
Пусть в короли, и валеты, и дамы
Лишь коронованные особы
Мастью играют тою же самой.
Пусть венценосцы и фаворитки,
Лишь доверяя равным и близким,
Мечут упавшие вдвое кредитки
С Карлом Десятым, с беем тунисским.
Едемте с нами, в чем вас застали.
К дьяволу карты! Кони, что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте. Старинный замок вельможи.
Залпы в ответ на залпы отряда.
В окнах личины. Странные рожи.
Бальные платья. Шум маскарада.
Черти, монахи, рыцари, турки,
Старый бродяга с бурым медведем!
Не доплясавши первой мазурки,
К нам выходите, вместе поедем!
Едемте с нами, в чем вас застали,
Мавры, испанцы и сицилийцы!
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Стойте тут, стойте! Новое зданье.
Света в окошках нет и в помине.
В воздух стреляю. Тихо. Молчанье.
Тьма и безмолвье сна и пустыни.
В двери стучитесь. Спать по-мертвецки?!
Нет, не перечьте нашей забаве.
С лампой выходит старый дворецкий.
«Спит твой хозяин? Вот добронравье!»
«Нет, он не спит. Господин мой и дети,
Только узнали о возмущенье
В ночь декабря со второго на третье,
Вышли с отрядом в вооруженье.
Вот почему опустели аллеи».
«Твой господин молодчина! А мы-то!

Думали, дрыхнет, — вот дуралеи!
Больше таких бы Польше в защиту».

Едемте дальше, раз не застали,
Свищут полозья, кони, что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Месяц сияет. В мыле буланый.
Полоз дорогу санную режет.
Сыплются искры. Блещут поляны,
И постепенно утро уж брезжит.
Мы подъезжаем. Стало виднее.
Вот и граница. Мы на кургане.
Заговорили все батареи.
Это на масленой наше катанье.



БАЛЛАДА ПАЖА

(из драмы «Мария Стюарт»)

«Сын мой, отчего с утра
На лице твоём хандра,
Кровью меч замочен?»
— Сокола я сбил мечом.
Била кровь из жил ключом.
Тем и озабочен.

«Ты б тогда не хмурил бровь.
Эка важность птичья кровь!
Это кровь иная».

— Мать, я загубил коня,
Вихрем он носил меня,
Ветер обгоняя.

«Ты б не плакал о коне.
Сын мой, сын, сознайся мне,
В чьей крови обнова?»

— Мать, я зарубил отца.
На обнове молодца
Кровь отца родного.

«После лютости такой
Где ты обретешь покой?
На какой чужбине?»

— В тридесятые края
От родимого жилья
Я уйду отныне.

«Ну, а тут, в родной стране,
Что оставишь ты жене,
Завещаешь детям?»

— Пусть по их следам всегда
Ходит по пятам нужда
Здесь, под небом этим.

«Сын мой, в этот страшный час,
Что ты матери припас,
Край наш покидая?»

— Проклята будь с этих пор!
Это твой был подговор,
Чтоб убил отца я.

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН



СЕСТРЕ

Ты спала непробудно в гробу
В стороне от вседневности плоской.
Я смотрел на твою худобу,
Как на легкую куклу из воска.

Пред тобой простирался тот свет.
Для вступленья на эту чужбину
На тебе был навеки надет
Мешковатый наряд пестрядинный.

В доме каждая смерть говорит
Об еще не открытом злодействе.
Каждый из умиравших убит
Самой близкой рукою в семействе.

Я укрыться убийцам не дам.
Я их всех, я их всех обнаружу.
Я найду, я найду их. Но сам,
Сам я всех их, наверное, хуже.

Понапрасну судьбу мы виним,
Обходясь оговоркой окольной.
Лучше, боже, прости нам самим
Грех наш вольный и грех наш невольный.

То я грезил, — еще ты больна
И мне пишешь письмо из больницы,
То я слышал с могильного дна:
«Дай мне есть» или: «Дай мне напиться».

Как ответить? Отвечу ли я?
Бог один пред тобою в ответе.
Нет на свете такого питья,
Нет и хлеба такого на свете.

Гроб качался на наших руках.
Вот уж он на крестьянской подводе.
О, какой охватил меня страх,
Когда тронул возница поводья!

Может, ты в летаргическом сне
И живую тебя закопают?
Но резонно ответили мне,
Что ошибок таких не бывает.

Молча брел я за возом в подъем.
Мир заметно мельчал предо мною,
Уменьшаясь в размере своем
На одно существо небольшое.

Я шел молча. «Увы, может быть, —
Думал я, — нет столь родственных нитей,
Без которых нельзя было б жить».
Это грустное было открытье.

Ночь у гроба длинна и пуста.
Тех уж нет, кто глядит из гробницы.
Истлевает их взгляд и уста.
Лица их — черепа, а не лица.

Знаю я, что и в тленье свой путь
Под землей ты проделаешь честно,
Но вовек не решусь заглянуть,
Как ты гнешься под ношею крестной.

Верно, смерть протрезвляет всю плоть
От желаний, и жажды, и хмеля.
Догадается ль только господь,
Что лежишь перед ним в подземелье?

Ты, парящий в далеких мирах,
Задержи перелет свой по тверди
И согрей на груди этот прах,
Что обманут твоим милосердьем.

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



Я И СТИХИ

Думают, стихосложение —
как солдатское «ать-два»,
маршируют отделенья,
строятся в ряды слова.

На стихи давно б я плюнул,
но не в силах перестать:
черт какой-то мне подсунул
надоевшую тетрадь.

И у черта план роскошный,
чтоб такое я загнул,
чтобы небу стало тошно
и чтоб лопнул Вельзевул.

Вот я и веду бесменно,
закрепляя каждый миг,
из скитаний по вселенной
свой космический дневник.

В прошлом — Лондона туманы,
недоснившиеся сны...

Как на эти все романы
поглядеть со стороны?

И другое есть в сознание,
но охватывает страх
вплоть до сердца замиранья
думать о таких вещах!..

Есть мучительное право
знать, что мир зажат в тиски,
вспоминать дано Варшаву
до мучительной тоски.

Кровь и гибель в миг тоски я
словно вижу наяву.
Именем твоим, Мария,
я бессонницу зову...

.
Думал я: в дыму стеная,
Старый город пал... И вот
плачу я... Прости, родная!..
А отчаянье растет...

Но, беспомощный, неловкий,
все в Леванте, у воды,
обучаю маршировке
стихотворные лады...

Это мне не нужно лично
и не нужно никому.
Родина ведь безгранична,
сердцу нужды нет в дому...

М. А. ЗЕНКЕВИЧ



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



ДУМА О ВАЦЛАВЕ РЖЕВУСКОМ

В морях он скитался, и стал он фари́сом,
И спал он под пальмой и под кипарисом;
Молясь, как арабы, был в храме Каабы,
У гроба пророка был с ними.

Конь белый арабский служил без отказа,
Семь раз на коне он проехал степь Газы;
Молитвам их внемля, челом бил о землю,
Как все пилигримы в Солиме.

По звездам в степи находил он дороги,
И нес на коне свою жизнь без тревоги,
Скитался по свету, доверясь стилету,
Что дева вручила украдкой.

Стилет взял он ночью, когда с галереи
Спускался, чтоб лестницу срезать скорее.
С прощальной лаской вручен был дамасский
Кинжал с золотой рукояткой.

Прощаясь с ним, дева, томима печалью,
Хотела пронзить свое сердце той сталью.
«Живи, молодая! Тебя покидая,
Кинжал твой возьму и в могилу.

Когда в моем прошлом степь эта затмится
И жить станет тяжко, он мне пригодится.
С душой я мятежной, но память о нежной
Любви твоей сердцу даст силу!»

Он вихрем помчался и видел, печальный, —
Вдруг дева исчезла, и влагой зеркальной
Волна закачала ее покрывало...
Исчезла навек... без возврата!

Увидел он ночью край милый, родимый,
Встал месяц багровый в тиши нелюдимой.
Слепым в ночь глухую он степь бы родную
Узнал по ее аромату.

И кланялась нива ему золотая,
Он ждал, что друзья к нему выйдут,
встречая.
Но их схоронили... в холодной могиле,
Пока он скитался в пустыне.

Он ехал один, всем чужой, незнакомый;
Хотел он коня повернуть прочь от дома
И в степи вернуться, где вихрем несутся
На быстрых конях бедуины.

Но конь расковался, разбил он подковы,
Не в силах скакать... И слез всадник
суровый,
Вошел он в жилище; там ветер лишь
свищет,
Нет стекол, прогнили обои.

Был рад он увидеть утес поседелый
Над Смотричем темным, где жил орел белый;
С гнезда, как и прежде, звездюю надежды
Он в небо взлетал голубое.

Коня поместил он в стеклянной беседке
С кормушкой большой золоченой, как
в клетке, —
Ведь конь пригодится, с ним можно,
как птица,
Умчаться в свободные степи.

Ведь тот, у кого скакуна нет такого,
Покорно нес иго насилия злого,
Не смел моргнуть глазом под царским
приказом,
А царь расправлялся свирепо.

Раз, в день рождества, чтя обычай
старинный,
Арабский эмир наш на сене в гостиной
В беседе застольной, веселой, раздольной,
Облатку вкусил для причастья.

Подняв свой бокал со столетним токаем,
Воскликнул с надеждой, в борьбе нестигаем:
«За Польшу и славу!..» Вдруг весть
из Варшавы:
«Отчизна воскресла!» О, счастье!

Вновь тропы степные, холмы, буераки,
За ним с бунчуками скакали казаки,
Все в красном и белом, походом шли смелым
По скорбным курганам былого.

Ряды их, как волны морские, сверкали,
И ровным галопом по степи скакали,
На грохот и пламя неслись с бунчуками,
С кометами боя лихого.

Казаки эмира не раз на привале
Раздольную, дикую песнь запевали,
И в дымке тумана им эхо с кургана
Гремело: «Ура в честь эмира!»

И в ярости царь обещал, негодуя,
Убийце эмира награду большую,
Как будто шла прямо орда Чингис-хана,
Батья иль рать Кантемира.

Ржевуский умел, как арабы, средь мрака,
Холстом приглушив стук копыт аргамака,
Громить на привале врагов, когда спали,
Брать пушки в бою без урона.

Он смело отряд свой направил под Дашев;
С бряцаньем и криком там конница наша,
Гремя палашами, скакала рядами
И тучей вносила знамена.

Когда озарились туманные дали,
Поляки отряды донцов увидали
И пушки за ними, а дальше стальными
Штыками ряды колосились.

Все тихо... Вдруг бомба в полете прицельном
Упала в ряды черным вихрем смертельным,
А наши пред битвой душою с молитвой
Еще к небесам возносились.

И тысяча бомб по степи разметала
Кипящие брызги, осколки металла;
Все поле гремело; но конницей смело
Эмир окружил всю пехоту.

Шеренги каре крепко сжал он тисками,
А конь его, вздыблен, вставал над
штыками,
Ломал их подковой, как ствол камышовый,
Сверкала клинка позолота.

Могли победить, но смутились поляки —
Начальник орудий приказ дал двойкий:
«Гей, конница с фланга!» Крик, шум,
перебранка,
И наши коней повернули.

А внесший смятенье невольный виновник
Громил из двух пушек врагов хладнокровно;
Как вышли снаряды, себя без пощады
Убил он последнею пулей.

Быть может, пред смертью, среди муки
и боли,
Он вспомнил детишек в сиротской их доле;
Но смерть победила, пусть чтится могила,
Покой ее мирный заслужен.

Эмир, когда смолкла пальба в окруженье,
Последним, отчаясь, покинул сраженье.
Упрек хоть единый?.. Всю саблю щербины
Покрыли, как четки жемчужин!

Когда покидал он край милый, родимый,
Встал месяц багровый в тиши нелюдимой.
«Лети без дороги, мой конь быстроногий,
В краю отдохнешь ты в турецком.

О конь мой, где ж бег твой и стать боевая?
Иль ты расковался, штыки попирая?
Скакал ты так бодро; стой, конь, для
осмотра;
Ты ранен в бою молодецком?

Не ранен... Но ехать средь ночи нам трудно». —
И вот подъезжает он к хате безлюдной.
Кустарник конь гложет. Эмир, как на ложе,
На землю улегся средь хаты.

Усталый, уснул он... А полночью темной
Подкрался холоп к нему царский, наемный;
И — дар юной девы — эмиру в грудь влево
Кинжал он вонзил воровато.

ЮЛИАН ТУВИМ



РУБКА БЕРЕЗ

Топором березам жилы вскрою,
Тело им пораню под корою,
Липкою росой забрызжу крону,
Раны белые губами трону.

В их кору вгрызусь зубами цепко,
К соку их прильну губами крепко,
Вырву я живьем сквозь древесину
Зацелованную сердцевину.

Может, их целительные соки
Мне внушат взволнованные строки,
Чтоб я пел хвалу березам, лету,
И устам неистовым, и свету!

ВИТОЛЬД ВАНДУРСКИЙ



СТОЛЯРНАЯ

Если можно мечтать лучезарно,
То мечтанье дает много сил,
Стать бы мне, как искусник столярный,
Музыкантом рубанка и пил.

Пусть испытанный мастер сурово
Остругает мне волю, как дуб,
Чтобы, пилы точа, клей готовя,
Я был выдержан, крепок, не груб.

Пусть бы руки в мозолях устали,
Но зато б я, решителен, смел,
И сверлом, и резцами из стали
В мягкость дерева вгрызться умел.

Буду лаком крыть мебель до блеска,
Забивать буду клинья шутя,
И рубанком строгать, в арабески
Кудрявые стружки крутя.

Заработают руки привычно
В вихре стружек, влетающих в пляс,
И отстучает сердце ритмично
Негритянский веселый джаз.

Буду я обучаться охотно
(Год, другой, а не целый век),
Станет званье мое почетно —
Не юрист, а столяр, дровосек.

Всею артелью, веселой и дружной,
Гроб большой смастерим мы тогда,
Чтобы мир, обветшалый, ненужный,
Схоронить в том гробу навсегда!

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН



ЛОДЗЬ

О весенней облаве крысиной
Объявляет плакат, грязен сток,
И лазури осколочек синий
Перебросил на запад восток.

Вдоль домов, как крысиная стая,
Пробегают тайком полумрак,
И нахмурились тучи, глотая
Лиловатый фабричный мышьяк.

Зелень чахлая серого сквера
И фонарь в переулке глухом.
За решеткой в саду, как пещера,
Неуютный, под готику, дом.

Колоннада дворца и бессильный
Взлет ступеней... Кулисы иль сон?
Фиолетовый отблеск красильни
В сточный ров, словно труп, погружен.

Здесь могла бы беснушно спуститься
Леди Макбет. Кровь с рук не отмыть!
Стонет ветер, дым едкий кустится,
Мостовая — как пустошь среди тьмы.

Здесь бы мог пред толпой театральной
Доиграть свою роль до конца
Сам Шекспир и за стеклами спальни
Кануть очерком светлым лица.

Вот купцов именитых гробницы —
Словно вексель на жизнь и на смерть.
В нише нищая ночь приютится,
До зари ей дрожать и терпеть.

Все качаются тени бессильно
На заборе, а рядом с ним, тут —
Словно древние парки в прядильне
Бесконечные нити прядут.

Каждый камень заплеван чахоткой,
Расползается дым, словно мор.
В трубах, в башнях, в громоздкости четкой
Очертания замков иль гор?

Здесь дрожат и машины и стены,
Напрягаются своды, как лук.
О пожаре завывли сирены,
Слышен грохот, и топот, и стук.

СТАНИСЛАВ РИШАРД
ДОБРОВОЛЬСКИЙ



ИСТОРИСОФИЯ

Я помню, магией феерии,
фокусом детской моей фантазии
Саксонский сад превращался в прерии,
в дебри Австралии и Азии.

Там, воюя, с разбитым носом,
среди джунглей, дышащих жасмином,
я был индейцем с пером орлиным,
а в декабре — эскимосом.

Там, раслушив наряд петушиный,
лассо, томагавк бросая смело,
я с кличем призывным красной лавиной
воинов вел на врага — на белых!

И сейчас еще из Саксонского сада
ко мне порой доносится снова
призыв предводителя отряда,
как отзвук бунтарства молодого.

Тот детский клич победный доходит
ко мне нередко в часы ночные;
подняв от сна, пером моим водит
и мне диктует слова иные.

В буре событий, сурово и строже,
далеким эхом призывов смелых
славное слово «краснокожий»
ведет меня на врага — на белых!

М. И. ЦВЕТАЕВА



ЮЛИАН ПШИБОСЬ



МАТЕРИК

Только глянул — пространство со взгляда,
как с якоря, сорвалося!

Эти вспышки зеленого дыма — зеленого пыла —
Как помыслию листвою?

Вместо тени — дичайшая темень.

Ввысь скакнула земля.

Материк — в небосвод провожаю?

Так ударами сердца растрогать гранит этот
дикий —

Чтобы взмахом одним стал, и плотью,
и кровью, и жизнью.

...Будто гром его только что ранил.

Ничего — только волн начинающих береговая
кривая.

ГОРИЗОНТ

Может, туча из недр морских вынесет
на горизонт
Эту землю — как бурю, задержанную в полете.
Жду, покамест два вала ее двуединым
ударом приблизят.

Здесь еще не ступала нога человека.
Эти лица — людей или глыб?
Ветер дует с начала творенья.
Этот остров возьму под стопы и руками его
повторю,
Разрешу мирозданье по-новому, сразу.
О, поднять бы, руками поднять ту воздушную
линию гор,
Чтобы стали они,
Чтобы стали те горы двумя
Запрокинутыми над головою руками.

БЕГСТВО

Позади горизонты валились пластами,
как пашня под плугом,
Ввысь взлетали мосты, наподобие огненных
птиц,

И наш дом — для последнего разу — мне
брызнул звездою.

Я над телом лежащим помедлил.

На широких равнинах — их пули со свистом
сшивали тесней и тесней, —

Как восторгом, охваченный ужасом,

Брат!

Я укрыл тебя ветвью.

Сжала жница тебя не серпом, не серпом
тебя сжала, а саблей...

В землю торопится кровь.

В поле останется тело.

И погрузился я в ночь, у которой

ни дна нет, ни сна нет.

...И необъятная — вся —

Стала земля мне одним

Местом, запавшим

На объем человека.

ЛЮЦИАН ШЕНВАЛЬД



РАССВЕТ

*(Вступление
к поэме «Сцена у ручья»)*

Глинозема седым бурьяном,
Желтым полем, звенящим вслед,
В глубь дубового океана
Боязливо бредет рассвет.

В темной гуще, где все заглохло,
Просыпается каждый листик.
В свежих листьях — тысячи вздохов,
Грачьи карков, иволжьих свистов.

Утирает лицо листвою
Яблонь дикая в чаще сонной.
Жемчугами плеснул в лицо ей
Говорливый ручей влюбленный

И красавицу камышами
Обнял нежно и многоруко,
Белой пеной одел, как шалью,
Быстрой песнею убаюкал.

От корней до вершин — и выше
Раздирается тьмы завеса.
Стисни сердце, чтоб билось тише,
И послушай сказанье леса.

Ухнул камень в лесную ночь,
В тишь дремучую вторгся глухо.
Пробужденная камнем ночь
Утра ход уловила ухом.

Пал тот камень из жарких рук,
В глубь дремучих ветвей врезаясь,
Развернулся в грядущий круг,
Затрещал в камышах, как аист.

Шли крестьяне за сухостоем
Сонной чащею утром мгlistым,
Оглашали жильё лесное
Невеселым мужицким свистом.

Шли травкою сырою, глиной,
Не гуторя да не толкуя,
Шли по сучья да по малину,
Шли то кучей, то врассыпную.

Вдруг вся глушь загудела гудом!
Да никто, кроме белки быстрой,
Увидать не успел, откуда
Камень грянул, откуда — выстрел.

Снегирей и щеглов не спросят,
Кто и кем здесь уложен насмерть.
Долго выстрел стихал вдоль просек,
Долго дыма качалась проседь,
Долго реял над местом ястреб.

Ветер дым разнесет по рощам.
Ели в думу уйдут по-вдовьи.
Лес наместничий новой мощи
Наберется, напившись крови.

Только гончая на закате,
Чутким носом копнувши хвою,
Морду вскинет, белки закатит
И залыется протяжным воем.

Да ребенок, глядящий дико,
Жарким полднем сбежав в канаву
За черникой и земляникой,
Подивится на след кровавый.

Таковы-то бои в лабиринте барсучьем,
В дикой чаще лесной, полной клычьев и сучьев.

Меньше струек в ручье, меньше хворосту
в ямах,
Чем рубцов на хребте и на темени шрамов.

Столько в пении ландыша скрытого скрипа —
Сколько белых цветов под отцветшею липой.

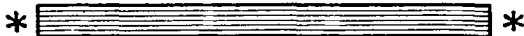
И не так многочисленна погань грибная,
Как железные цепи на страждущем крае.

А чем больше мужицких загубленных жизней —
Тем щедрее калина кораллами брызнет.

А чем больше под елями крови мужицкой —
Тем сочнее трава и жирнее земляца.

А чем больше камней унесется потоком —
Тем мудрее дубы на откосе высоком.

Э. Г. БАГРИЦКИЙ



АДАМ КОЗЯРСКИЙ (БОГДАН ЖИРАНИК)



КРАСНЫЙ ПОЛК ВАРШАВЫ (*Польская революционная песня*)

Пану не служим своим штыком,
Трон не храним мы кровавый,
Счастье народа мы с бою возьмем,
Мы — красный полк Варшавы.

Выросли мы средь мазурских полей,
В городе зла и позора.
Нас угнетает до нынешних дней
Шляхты проклятая свора.

Не одурманить словами ксендзов,
Не оплести нас цепями!
В битву ведет молодых бойцов
Красное наше знамя.

Смело вздымайте кровавый флаг —
Вестником радостной славы!
В битву идем, и неведом нам страх,
Мы — красный полк Варшавы.

Н. С. ТИХОНОВ



МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН



К ГРЕЦИИ

Лишь за свободу клич старинный
Начнет сердца людские жечь —
Отца наследье руки сына
Поднимут, словно ржавый меч.

Как век назад, у скал твоих,
Эллада Байрона, покорно
Встают полки глубин седых,
Вал преклоняя пенно-черный.

Как порох, пахнет ночь сама,
Свобода на оружие дышит —
Где облако гор снежных выше,
В ущелье туч нисходит тьма.

Двоится эхо в горле гор,
Где скрежет танков, бомб разрыв,
Как будто трагедийный хор
Клянется в том, что вновь он жив.

В час тишины ветрам стихать,
Где в скалах вод тяжелых звон,
Где в жестком дыме нищих хат
Лишь пастухов угрюмых сон.



ПЕСНЬ ЯРОСЛАВНЫ

Не за семью лежит горами
Тот край, прекраснее всего —
Живет грядущее пред нами, —
Остались версты до него.

Где полны чудным смыслом жизни
Огонь и хлеб, шум волн ночных,
И тот, кто был лишен отчизны,
Вновь будет пить из рек родных.

Кто доживет — тот сам увидит:
История — нет, не базар,
Не дом, где стоны, боль, обиды,
Кровавой злобы алый пар.

Не за семью лежит горами
Тот край, где тихо вьется снег,
Где слово песни в плеске рек
Искрится радости слезами.

Зовет в Путивле Ярославна
В слезах дружин степных ряды...
Я слышу песнь чудесной славы
Огня, и хлеба, и воды!



МАЙ

О людская река, захлестнувшая дали,
Ты в разливе победы с Запада мчишься
на Запад,
В голосе тех, что ушли и что вновь
возвращались
На землю птиц высоких, дождей низколапых,
В темных ночах кто узнал пути расставанья,
В глазах потухших унес куски майской
лазури,
Вчера еще спал кротом под травкою хмурой,
Тот не просто вернулся — из мертвых
восстал он,
Встречая вернувшихся и уцелевших,
С тенью смерти на лицах и скитаний всех
лютых,

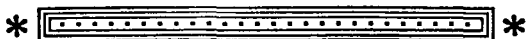
Мне даже городов сожженных пепел дышит,
Как старое клише, во мраке бед глубоком.

Как быстро мне далось сплестать забвенья

нити —

Я боль жестоких ран лечу землей зеленой,
Руками двигаю — к кресту непригвожденный,
Распяты на моем молчанье, — вы меня
простите.

П. Г. АНТОКОЛЬСКИЙ



АДАМ МИЦКЕВИЧ



ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Мглистый вечер плыл над Петроградом.
Под одним плащом стояли рядом
Двое юношей. То был пришлец,
Польский странник, жертва царской мощи,
И народа русского певец,
Знаменитый в царстве полунощи.

Стали близкими с недавних дней,
Но все дружелюбней и родней
Души их в парении свободном,
Словно два альпийских смежных пика,
Разлученные потоком водным:
Еле слышен злобный гул воды
Им, унесшим в поднебесье льды.
Странник созерцал Петра литого,
Русский же такое молвил слово:

«Первому среди царей — почет
Новая царица воздавала.
Став гигантом, грозно он растет,
Оседлал лихого Буцефала;
Рвется в дали всадник чудотворный,
На своей земле не устоит, —
Тесно, знать, на родине просторной.
И уже влекут ему гранит.

Вырыт по царицыну приказу
На побережье финском пьедестал,
И доставлен по морю, и сразу
Ниц перед монархинею пал.
Пьедестал готов. Летит из мглы
Медный кнутодержец в римской тоге.
Прянул конь и на краю скалы
Вздыбился и захрапел в тревоге.

Не таким изваян в старом Риме
Дорогой народам Марк Аврелий.
Цезарь тем свое прославил имя,
Что при нем доносчики хирели:
Он нашел грабителям узду,
Разогнал на Рейне и Пактоле
Варварских захватчиков орду
И вернулся в мирный Капитолий.
Ясное, открытое чело
Мысль о счастье родины являет;

Поднял руку важно и светло,
Словно подданных благословляет.
А другую бросил на поводья,
Укрощает ярого коня.
Так и слышишь голоса в народе:
«Возвратился Цезарь, мир храня!»
Всю толпу окинув добрым взглядом,
Не спеша он едет с нею рядом.
Треплет гривой, пышет жаром конь,
Чует, знать, кто всадник величавый,
И смиряет сдержанный огонь,
Бережно ступает, крутоглавый;
И народ, теснящийся вокруг,
Тысячи простер сыновних рук.
Конь дойдет и до бессмертной славы!

Отпустив поводья скакуну,
Петр промчался через всю страну,
На уступ скалы внезапно прынул,
Вздернув ошалелого коня.
Конь грызет узду, упор храня, —
Так бы в пропасть замертво и канул.

И стоит от века вся громада,
Словно глыба горного каскада,
Скованная вихрем ледяным.
Вспыхнет солнце вольности над ним.
Вихри ли взметнутся буревые, —
Что-то будет с глыбой тирании!»

ДРУЗЬЯМ РУССКИМ

Вы помните меня? А я, лишь только вспомню
Поляков, гибнущих на плахе иль в темнице,
Тотчас же вижу вас. Вообразить легко мне
В одном гражданстве их и чужеземцев лица.

Где шея гордая Рылеева? Как брата,
Я обнимал его, бывало. Но жестоко
Задушена она петлей царева ката.
Проклятье вечное тем, кто убил пророка!

Бестужев протянул мне дружескую руку.
Не меч и не перо сейчас в руке поэта.
Нет, рядом с польскою прикована на муку
В сибирском руднике рука святая эта.

Быть может, у иных еще и горше участь.
И кто-нибудь из вас за чин, за орден лишний
Жар юности отдал и, совестью не мучась,
Поклоны бьет царю в его передней пышной.

Он речью купленной триумф царя прославит,
И мученичество друзей — ему услада.
А если кровь моя его и окровавит, —
Что ж — пусть кичится ей перед царевым
взглядом.

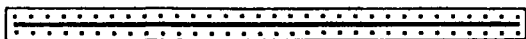
Но если как-нибудь домчится издалека
В край полуночи песнь, что выстрадана мною,
Пусть над пустыней льда звучит она высоко,
Вам вольность возвестив, как журавли весною.

Узнаете меня по голосу! В оковах
Я как змея хитрил и лгал в глаза тирану.
Но открывался вам в желаньях тайниковых,
Как голубь, был я прост и не знавал обмана.

Сегодня на землю бокал отравы пролит!
Пусть горечь слов моих, злость этой речи
горькой,
Пусть горечь слез и ран моей отчизны колет,
Жжет и язвит не вас, а ваши цепи только.

А если кто из вас обидится — скажу я,
Что то дворовый пес в привычной злобе
брешет:
Давно ошейник пса не мучает, а тепшит, —
Он руку вольности кусает, как чужую.

И. Л. СЕЛЬВИНСКИЙ



ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ



ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ, СЛЕВА СТОЯЩИЙ...

Огненный ангел, слева стоящий,
Крылом задел былую любовь...
С тобой! О, с тобой — в сибирские чащи,
Где вьюги проносятся вновь и вновь;
Где белые чайки выются в смятенье;
Где ты на могилах пасешь оленей.

Мой гроб — чудесная белая ваза.
Лилии ночью растут из нее;
Свет проступает прозрачнее газа;
Музыки тихое забытье.
Ты повелела душе: «Забудь!»
Звукам — стихнуть, свету — уснуть.

Ты в одиночестве под пургою
Громко молишься, — и сквозь леса,
Точно алмазы, одна за другою
Звезды-молитвы летят в небеса.



*НЕТ, Я НЕ ПРИБЕГАЛ К ЛЕКАРСТВАМ
И ВРАЧАМ...*

Нет, я не прибегал к лекарствам
и врачам
В желании остаться с вами,
Товарищи мои! Я с вихрями, с волнами
Схватился, гневен и упрям.

Мой дух вступил со шквалами в борьбу;
«Кто победит?» — я вопрошал судьбу.

Стыжусь признаться. Победило море.
Его студеный беспощадный вал
Свое величие отвоевал;
А я живу с тех пор в унылом горе.

ЮЛИАН ТУВИМ



*COMMEDIA DIVINA*¹

О, как я ломал во Флоренции пальцы,
Молящий дантейские звезды о слове!
Не в эти ль созвездья остро и сурово
Глядели могучие очи страдальца?

И было мгновенье — душою единой
Два сердца ударили в эти планеты...
И вот звездопадом святые терцины
Осыпали голос чужого поэта.



О МОЕМ СТОЛЕ

Мой стол — шестигранным овалом
Застыл в своем траурном блеске,
Как реквием деревянный,

¹ Божественная комедия (*итал.*).

Как монумент слез.
Ему бы четверку колес,
Катафалком он станет бывалым,
А струны на нем натянуть —
Станет роялем.
Угрюмый идол
С широким ящиком-пастью.
Поглощает он, поглощает
Останки творческой муки,
Гниющие в ящичном быте,
Памяти нудные сутки,
И это, и то, и что-то...
Братское кладбище фактов и дат,
Мертвых для новой работы!

Стол мой, стол похоронный!
Сижу, пишу, тобой покоренный...
А вы вернитесь к себе, вернитесь,
Слезы, маски, кресты и короны!



АПРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗКА

Нет, не листики, не листочки —
Это деревцо-невидимка,
Это облачко, это только
Золотисто-зеленая дымка.

Если есть лесное небо,
Эта тучка спустилась оттуда.
Среди сада, недвижимо и немо,
Над землей возникла, как чудо.

Неужели ей зеленеть
И сравниться с березой по цвету,
И густеть и отбрасывать тень?
Не могу я поверить в это!

Праздник миллионами свеч полыхает,
В стеклах зеркальных преломлены
зданья.

Ветер, скользящий по влаге и суше,
Мчит облака по небесному своду.
День этажи отраженьями рушит
В ясно-глубокую звонкую воду.

Залпы лучей Золотистого Ока,
Воду всколыхайте колоколами!
Радость свободы моей высокой,
Взвейся, в лазурь ударяя крылами!

Взвейся над городом, ветру открытым,
В пурпур знамен шелестящих одета,
С ветра на площади, с Вислы к зениту,
Радостью ясной весеннего света
Лейся, сверкая, свобода поэта!

В синь зачарована, с пурпуром слита,
В высь этажей над знаменами взвита,
Буйствуй же, красная и голубая,
В праздник багрянца и сини зенита,
В праздник зеленого Первого мая.

Нарушил он слово, забыл он о сроке,
И зря поливала я тополь высокий.

Все дождик да дождик — буланому склизко.
Сказали мне люди, что милый мой близко.

А может, меня он и впрямь не обманет, —
Приедет наутро и свататься станет?

Вон, девушка, видишь тот камень тяжелый?
Когда поплывет он, возьму тебя в жены.

— Где ж видано было, чтоб камень
да плавал?
Зачем же меня обманул ты, ославил?!



РЕКРУТСКАЯ

Уж как на поле былинку
Ветерок колышет,
Уж как Касеньке любимой
Ясек письма пишет.

— Хоть ты пишешь, хоть
не пишешь, —

Не читая, брошу:
Знать, люблю тебя не крепко,
Ясек мой хороший.

— Пусть ты любишь, пусть не любишь, —
Я не позабуду:
Твое ласковое слово
Вечно помнить буду...

И угнали новобранцев
В край чужой, далекий, —
Ни по морю, ни по суше
Нету к ним дороги.

— Ой, летит, летит кукушка,
Пташечка лесная,
Ой, несет, несет нам вести
Из родного края.

Расскажи нам, что ты в Польше
Слышала-слыхала,
Что ты в садике отцовском
Видела-видала?

— Гнутся в садике отцовском
Ивы над водою,
А родные ваши плачут
Горькою слезою.

— Ты скажи им — пусть не плачут.
Сердца не тревожат:
На том свете после смерти
Свидимся, быть может.

В. А. ЛУГОВСКОЙ



БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН



БЕССОННИЦА

Полночь. Блеск воды в колодце,
Лунный свет сквозь окна вкось,
Силой и бессильем льется
Лунный свет сквозь окна вкось,
Безымянны и понуры
Тучеходы белокуры,
Резкий свет, и сумрак хмурый,
И какой-то третий гость.

Слушаю, настороженный,
Мне слышался сейчас
Чей-то стук, глухой и сонный,
Мне слышался сейчас...
Кто стучит в мои ворота?

Вихрь, уставший от полета,
И тревога, и дремота...
Отворяй, не мучай нас!

Отворил во имя бога,
Вмиг вся тройка ворвалась!
Вихрь, дремота и тревога —
Вмиг вся тройка ворвалась!
На постель мою все трое
Улеглись в ночном покое,
Улеглись рядком все трое,
Вот уж им поспится всласть!

Мы пришли — хоть нас не звали, —
Что ты скажешь, милый брат?
Наша сказка дорога ли,
Что ты скажешь, милый брат?
Злому вихрю все невзору
Стонет мрак из-под забора,
Темнота спустила штору,
Улеглись, зевнули, спят.

ЛЕОПОЛЬД СТАФФ



ЗНОЙНЫЙ ПОЛДЕНЬ

В лесном взлохмаченном овраге
Жара во сне глубоком,
По дну ручья сухого гравий
Течет седым потоком.

И ветерок едва вздыхает,
И млеет воздух жирный,
И знойный полдень в небо налит,
Как в колокол сапфирный.

И диких пчел собрав кочевья
Вокруг тенистой кроны,
Стоят недвижимые деревья,
Как бронзовые троны.

И полдень, под голубизною
Успевший утомиться,
Испуганною тишиною
За скалами таится.

Ю Л И А Н Т У В И М

●

ГИМН ЛЕСУ

В торчащих, шуршащих зеленых штандартах —
Лесная столица,
Шумит, развевается лиственный фартук,
Блуждает живица.

А ветер — трубач, раздувающий щеки,
Тасующий тучи,
А ветер запутался там, на востоке,
В лучах колючих.

Не время ли кинуться дубу в объятия
И грому родиться?
В глухой сердцевине, под панцирным платьем
Гуляет живица.

Родная, пахучая вешняя зелень,
Народ мой бессмертный,
Гони до вершины лесное похмелье
Сквозь вечные ветви.

Пылает веселым, зеленым пожаром
Лесная столица,
Гроза прошумела, и в сумраке яром
Блуждает живица.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ



ПЕЙЗАЖ ХЕЛМОНСКОГО

Розы чайные отбросим,
О фламинго позабудем:
Здесь пути размыла осень,
Нелегко проехать людям.

На ободья грязь налипла,
Коням нелегко тащиться,
Повелительно и хрипло
Понукает их возница.

Тучи, лужи да ухабы,
Дождик прыгает, неслышен,
За возом плетется баба,
Капли слез крупнее вишен.

Словно проблеск лучшей доли,
В небе утренние зори.
Скользкий путь змеится в поле —
Так река струится к морю.

Край родной, леса, просторы,
Хат убогих вереница —
В белой книге пальцем черным
Перевернута страница.

Я Н Б Ж Е Х В А



СОЛОВЬИНАЯ УЛИЦА

На длинной Соловьиной под лунным
балахоном
Нет никаких строений — висят одни
балконы.

Их некогда развесил по падугам лохматым
Безумный архитектор, не живший никогда
там.

И ни один прохожий той улицы не сыщет,
Ее не сыщут даже стекольщик и точильщик...

Но рыбьей чешуею луна посеребрила
Провисшие над бездной балконные перила.

А на балконах — розы и соловьи на розах,
И соловьиной ложью насыщен темный
воздух.

Все это происходит во сне, и наяву, и
Сползая в сновиденье, и явно существуя,

И мы не отличаем, виски до боли стиснув,
Ни выдумки от муки, ни вымысла

от смысла...

А ты блуждаешь ночью по улице туманной
Подавленных желаний и сладостных

обманов,

Ты простираешь к небу прозрачные ладони:
Не явится ли милый на призрачном

балконе?

М. С. ГОЛОДНЫЙ



ЮЛИАН ТУВИМ



НОЧЬ БЕДНЯКА

Нужда, неправда, ложь извечная
Благие мысли гонят прочь.
И человека бесконечная
Гнетет и давит мраком ночь.

Он встал — тоска и тьма великая,
Он вслушивается — о нем
Шипят часы, безумно тикая,
Хрипят: идем, идем, идем!..

Чей кашель за перегородкою?
Скрип половиц?.. Ах, да: сосед!
Младенец спит с улыбкой кроткою,
А ночь-брюзга плетет свой бред

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



МОЯ ЗЕМЛЯ

Моя земля мне всех иных дороже,
мне никуда отсюда не уйти.
Здесь все кругом на молодость похоже,
на юность, отшумевшую в пути.

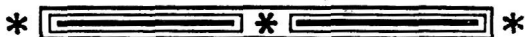
В окне я вижу тополя и поле,
отсюда Польша сердцу так близка,
что с ней я радуюсь и плачу поневоле,
муштруя к битве слов моих войска.

Слова мои поймет земля родная,
хотя б из них хлестала кровь ручьем.
Ведь знаю: и стена тюрьмы сырая
стихами обрастает, как плющом!

Здесь шепчется со мной листок зеленый,
ветра Мазовии качают тополя;
и здесь, пожалуй, в отчий край
влюбленный,
навек я усну — не так ли, что ль, земля?

Тогда меня укутай потеплее
и обними, чтоб слаще я уснул.
И пусть шеренгой в траурной аллее
родные вербы станут в караул.

Пускай они шумят мне на рассвете
про светлый мой, про песенный удел,
о том, как я любил на этом свете,
о том, чего воспеть я не успел.



Ю Л И А Н Т У В И М



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ

Вместо пана и вельможи —
Шляпы и пальто висят,
Их владельцы в шумном зале,
Аплодируя, сидят.

Рады висельники-вещи,
Что начинка их ушла,
До финала представленья
Жизнь прекрасна и светла.

Меж фуражкой и шнурами
Генеральских эполет
Нету головы... как жалко,
Что ее меж ними нет!

Шуба, радуясь уходу
Жирной туши яснопанской,
Вспоминает, как бежала
По пустыне африканской.

Рядом с ней пальто из шелка
В фантифлюшках кружевных
По инерциидохнуло
Паром грудей наливных.

Вот профессора пальтишко,
В рукаве — жены платок,
Подсыхает мокрый зонтик,
Рядом — смятый котелок...

Акт окончился последний
Толкотней и страшным шумом,
Не унять у гардероба
Лихорадочного штурма.

И, не медля ни минуты,
Гардероб покинут вещи,
В креслах зрительного зала
Сядут публикой зловецей.

И, бесформенны, измяты,
Будут в острые моменты
Глухо хлопать рукавами,
Повторять аплодисменты.

Слуги же господ повесят...
Это лучше ведь, не так ли?
Пусть, качаясь, ожидают
Окончания спектакля!

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



К ПОЭЗИИ

Весь я зеркалу уподобляюсь,
злые судьбы глядят в меня,
где б я ни был, я опаляюсь
жаром жертвенного огня.

Ты, поэзия, не ослепла
и, на крыльях своих паря,
птицей фениксом встань из пепла,
гневной песнею бунтаря.

Пригвожденный к аду и раю,
слышу — голос твой не затих,
никого я не проклиная,
а бросаю вперед свой стих.

Пусть судьба моя — вечная лунья,
я тебя лишь одну зову,
и во мраке и в полнолунье
в океане людей плыву.

Был солдатом своей отчизны,
жил, Икара завет храня...
О поэзия! В гущу жизни
самолетом ты сбрось меня!

Боевое мое задание —
чтобы стих мой не отступал:
умирающим — обещанье,
для живых — боевой сигнал!

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ



ИЗ ЦИКЛА «СВИТОК ОСЕНИ»

Да будет посвящен остаток дней моих
Тому, что станет вашим счастьем, внуки!
Лишь правде до конца всегда служи, мой
стих,

Как тетива, натянутая в луке.

Пусть стрелы слов моих, взлетая в небосклон
И грудь земли пронзая при паденье,
Расскажут ей, как я в нее влюблен,
Как я служил ей с самого рожденья.

О человек! Пусть каждая строка
Моей любви к тебе скалой взнесется,
И пусть над нею времени река
К материкам грядущего пробьется.

И пусть слова мои на стенах тех домов,
Что в дальнем будущем украсят всю
планету,

Расскажут всем, что знание мудрецов
Куда беспомощней предчувствия поэта!

Е. А. БЛАГИНИНА



ТЕОФИЛЬ ЛЕНАРТОВИЧ



ТАССО

На холмах Кампаньи вижу селенья...
Что может быть горестней и неприглядней?!
Тибр, круто петляющий в отдаленье,
Не делает эту картину отрадней.

Земля здесь скудна — не родит она хлеба,
Сечет ее градом, заносит песками.
Деревья как будто бы машут руками,
Как будто бы милости просят у неба.

Бескрайный песок, рыбаки у баркаса.
И стадо свиней. А пастух у дороги
Скандирует строфы... Что слышу я, боги!
Кого он читает? Мне кажется, Тассо?

— Скажи, — говорю, — что ты, друг мой,
читаешь? —

Пастух, улыбаясь, отвечает: — Я-то?
Читаю стихи... Ты, наверно, их знаешь...
Сеньор мой, велик и прекрасен Торквато!

Замолк он... Мои же смятенные мысли
К родным берегам улетели мгновенно:
Когда же пастух на Варте и Висле
«Тадеуша» будет читать вдохновенно?

И давнее утро зажглось на востоке,
И землю покрыло одеждой багряной,
А голос пастуший спокойно и чисто
Скандировал снова бессмертные строки:
«Canto amri pietose e il capitano,
Che'l gran sepolcro libera del Cristo»¹.

¹ «Я пою благочестивое оружие и полководца,
Который освобождает великий гроб господний»
(итал.).

МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ



* * *

Этот плуг, соха и поле —
Тем, кто любит их до боли,
Для кого не дик, не страшен
Вид родимых этих пашен,
Тем, кто знает наизусть
Их тоску, и боль, и грусть.

Тот пойдет за бороною
По своей земле весною,
Кто простой народ жалеет,
Чьи слова, как солнце, греют,
Кто помочь сердечно рад
Всем и каждому — как брат.

Лишь тому коса кривая,
У кого душа живая,
Кто не стынет на заре,
Серп не кинет на жаре...
Вы ж, холодные, как ночь,
С этих бедных пашен прочь!

Я Н К А С П Р О В И Ч



СИРОТЛИВЫЕ МОКНУТ ЕЛИ...

Сиротливые мокнут ели
Под дождем непрерывным...
И душа моя тихо бродит
По дорогам туманным.

Уплывает она далеко —
К тем вершинам отвесным,
К тем тропинкам над пропастями,
К тем снегам поднебесным,

К тем великим таинствам света,
И громов, и покоя,
К деревьям, наполненным солнцем
И недвижимым от зноя...

Сиротливые мокнут ели
Под дождем неустанным...
А вы, горы, заветные горы,
Заповедные страны!

ЛЕОПОЛЬД СТАФФ



ОСЕННИЙ ЗАКАТ

Осень бредет золотыми садами,
Жарко свисает огня виноград.
Будущее — точно чаша с плодами,
Прошлое — как зачарованный сад.

Сумерки чем-то на детство похожи,
Мир их чудесен, цветист и знаком.
Памяти нет, иллюзии — тоже,
Всюду реальность, правда во всем.

Гроздь виноградную сок распирает,
Брызжет осенним вином на ладонь.
Осень прекрасна!.. Пусть догорит
Леса пурпурово-рыжий огонь.

КАЗИМИРА ИЛЛАКОВИЧ



РАССТАВАНИЕ

Нет, не клена, не клена шумела и гнулась
вершина...
Может, то была липа? Иль ясень? А может —
рябина?

Вижу раннюю осень, с деревьев течет
позолота,
И пути во все стороны, и нараспашку ворота.
Конский топот и плач... Снова топот за облаком
пыли...

Нет, не клена, не клена шумела и гнулась
вершина,
и не я, а деревья в отчаянье были!

Так! Глаголу поэзии вторя,
Вы не ждите погоды у моря,
А привольно и что захотите
На ушко вашим милым плетите.

Не люблю с мудрецами водиться,
Неспособными въявь убедиться
В том, что время бежит и никто ведь
Не способен ему прекословить.

Значит, нынче пируй, развлекайся,
О грядущем гадать не старайся:
Что давно уж решил царь небесный —
То для смертных вопрос неуместный!



ДЕВКЕ

Не чурайся меня, девка молодая,
Подходяща борода моя седая
К твоему румянцу: коль венки сплетают,
Возле розы часто лилию вплетают.

Не чурайся меня, девка молодая,
Сердцем молод я, хоть борода седая,
Хоть она седая, крепок и теперь я, —
Бел чеснок с головки, да зелены перья.

Не чурайся, ведь и ты слыхала тоже,
Чем кот старше, тем и хвост у него тверже.
Дуб хоть высох кое-где, хоть лист и пылен,
А стоит он крепко, корень его силен!

И мчал, преграды трав прокалывая в злости
И на цветы косясь, скуля, щетинясь.
Кто знает, что он чувствовал, что вынес?

А я... Какой душа обожжена крапивой,
Что, крадучись, бреду наперерез межою,
И почему цветы глядят мне вслед пугливо?
Иль знают про меня, что сам не знал, — ночное?
Что сделал я? Зачем виски руками сжаты?
Чем был я в эту ночь, которой нет возврата?

ЮЛИАН ТУВИМ



ЗЕЛЕНЬ

(Словотворческая фантазия)

Разговор про зелень беспределен...
Звуком возвеличивая зелень,
Силой вдохновенья умножая,
Буйного добьемся урожая.
Мало видеть слово. Надо точно
Знать, какая есть у слова почва,
Как росло оно и как крепчало,
Как его звучало зазвучало,
Чем должно набухнуть и налиться,
Прежде чем в названье превратиться,
В званье, в имя или в кличку просто...
Прелесть слова — в летописи роста.

Так не лепо ль нам, про зель земную
Словесами предков повествуя,
Эту повесть зачинать издревле!
В недра, в ядра мы заглянем, в дебри.
По нутру пойдём, по корневищам,

В целине ту завязь мы отыщем,
Чтобы голос подал из расщелин
Первый шевелистик, нежно зелен.

Лыко в строку ты не ставь мне с бранью,
Что ломлюсь в подсловья мирозданья.
К семенам, ключам, истокам чистым
В иступленье Слововера истом
И в поля родного Словополя
С палочкой волшебною пришел я,
Чтобы зелени вернуть приволье
В польской речи, в нашем Словополе.
Тот грустит о соловьином свисте,
А другому панна в мае снится,
Мне ж звучат, как женственные птицы,
Словарей пленительные листья.
С каждым маем к юности и воле
Древо-древность ширится все шире.
Вот мой дом — стиха стены четыре
На полях родного Словополя.

Так сойдем же вместе в детство речи,
Как шахтеры в штрек, чтоб издали
Мог подземной лампой осветить я
Древние дремучие события.
Мы — в Эрцинском царстве. А над нами,
Над неполомицкими слоями,
Встало Беловежье пластовое
Древнею, дремучею Литвою,

Иновлодские мои дубравы,
Где кентавр топтал свои пратравы,
И славянской Атлантиды хвоя —
Все языческое, вековое,
Мховое... И где-то там, за нею,
Геркуланумы дубрав, Помпея!
Где ж найдем мы этих дебрей гуще?
Вот они — овраги, яры, пущи!
Ярогневы неба их спалили.
Их секиры молний повалили,
Все в ступе тысячелетий сбито,
Чтобы стать пластами антрацита
И опять с огнем соединиться,
И опять в застывшую гробницу,
В эту пропасть пасть, чтоб веял снова
Стужею удушья гробового
Лед алмазный, глетчер онеменья...

Но разбудим древние каменья
Чарозельством. Ведь кладоискатель,
Мертвых дел будитель, воскрешатель,
Видя смерть и жизнь предвечной речи,
Ведает, что дело человечье,
Так же как и деянье лесное
Все течет одною глубиною,
Где-то исчезает и таится,
Чтоб наружу все-таки пробиться,
Чтоб сверкнул для разума людского

Ключ живого, луч родного слова!
И, разбужен, забушует уголь
Лесом, полем, медоборьем, лугом,
Солнце поглощенное изринет,
Мох потопом бородатым хлынет,
Чтоб глаголу твари внять могли бы!
Древний ящер выскользнет из глыбы,
Ветер под крылами птиц воскреснет,
Еж и елка заиглятся вместе,
И свои покинет узилица
Крупный зверь: стволы и корневища,
Вдруг очнувшись, все пойдут толпою,
Зеленью сверкнут и — к словопою!
Хлынет ключ из-под корней растений
К жаждущим устам ветвей-олений.
И тогда очнется от молчанья
Самка-Речь, вдова с времен венчанья
Первородного. И — снова в зелень!
Словизна тут засочится хмелем,
И словесность хлынет коренная,
Кровь — руда, зелица медвяная.
И заблещет лес лучистой речью:
Жмудью, и санскритчиной, и гречью.
Эха тут пойдут по многостволью,
По стране родной — по Словополю.

В полный голос брат окликнул брата —
Все ведь были родичи когда-то,

Кровные сумели стоковаться.
Смехом-эхом стали окликаться,
Ведь выросли-то от единых зерен —
То же словище, и тот же корень.
Род их зелен, буен, непокорен!
Спорят: кто измерит бездну Зели;
Кто найдет, придя к предельной цели,
Корень Зели меж других зелинок —
Всяческих зелишек-небылинок,
Кто из них сквозь златоцветль болотца
До истоков зелья доберется,
Зельчиков натеребит зеленых
На межах подсловья отдаленных,
Кто на шумном зельбище природы
Праотца найдет — Зеленорода?!

Ящерицы подали тут голос:
— Мы не падчерицы! В нас — зеленость!
Той же зелени мы плоть от плоти.
Празелень вы в нас-то и найдете! —
Но решило травославных вече
Листьев большинством, что вздорны речи
Ящериц, что — не давать права им:
— Прочь беззельниц! Так позелеваем! —
Отбежали ящери и плачут:
— Что же, не зеленые мы, значит? —
Как на тризне, стонут о недоле
На своей отчизне — в Зелеполье,

Перерыли зеленостей тыщу —
Все-то Зеленосца не отыщут,
Ибо то зеленое начало
Не в листве, не в травах зазвучало,
Не в сыром побеге-малоростке,
А в зеленке — искристой стрекозке,
Что порхать в стихах вот этих стала
Между строк от самого начала.
Не она ли на слова садится,
Чтоб им всем насквозь прозелениться,
Сращивает звуки, разделяет,
Упорхнувши, снова прилетает...

Труд Зеленоведа опекает
Стрекоза-зеленка в блесках света...

Не отныне — с давних лет все это.
Еще зелень тела не имела,
Ни зела в земле еще не зрело,
Желчь и злато *гелтасом* единым
Не плескались в неманских глубинах
(И теперь — иди за Вильно в поле —
В этом поле не трава, а *жоле*,
Не зеленают здесь — *жельгятыся* травы,
Тут *жолинас* — золото отавы).
Еще в Рейне *гульт* не булькнул, взболтан,
Было все ни золотым, ни желтым.
И ни в капищах латвийских — *зельтсем*

(Значит — златом, а слышится зельцем!),
И лоза, пружинясь, не добилась,
Чтобы прусс сказал о ней: «*Жаляс*»,
И жмудин, осознавая ржавость
Рыжей белки, не воскликнул: «*Жаляс*»,
И былинка-золка не цвела там,
Всеславянским наливаясь златом,
Как праmaterь всех полезных злаков;
Еще мягким не смирился знаком
Грубый ЗЕЛ и нерасцветший жолтик,
Не прося о золоте, был желтым,
Еще жолна (дятлик тот, отзелок,
Chlorophiscus, от ствола отстволок)
По-над Влтавой *жлутой жлуной*
стлалась,

Еще Хлоя не зазеленялась,
Не успела травяная поросль
Подсказать эллинам слово: *хлорос*, —
А уже в «зеленое» играла
Стрекоза со словом! И мерцало
Через мысли — домыслы природы
Робкое сиянье Зелерода.

Вот как было, вот чем завершилось,
Вот как эта песнь озеленилась!
Зеленится зелень от предвечья
В Славополье нашем, в польской Речи!

ЮЗЕФ ЧЕХОВИЧ



ТРАУРНАЯ МОЛИТВА

Не чуя дна, цветок цветет —
мы это знаем.

Вот схлынет зорь огнистый лед —
и засыпаем.

Весною вновь ударит гром,
на юность нив нагрянет с неба,
наполнит небо медью гнева,
разбудит снова тихий дом.

Оно подстерегает нас —
небытие, чтоб меркли чувства,
чтоб в зеркале, где свет погас,
все стало пусто.

Пусть так! Но все-таки, пока
я жив — тоска меня не сглохнет!
Меня насилия рука
связать не может.

Я этот узел разрублю!
Хочу, чтоб ветры песнь мне пели,
на рифах пляску волн люблю,
хочу, чтоб вы, ручьи, звенели!
Нам нужен колокола звук,
крик чайки над волною,
леса, где горько пахнет бук...

Да будет жизнь иною!
Свет музыки нас озарит,
чтоб мы запели,
такт жажду нашу утолит,
насытит душу нашу ритм,
и крикну я тогда: «Царит Веселье!»
Да! Редко взываю к тебе я, Господь
Скорбящий,
но в раковину небосвода молю я,
в небесное ухо:
от жизни пустой и пресной, без музыки
и без песен,
от жизни, в которой тесно, спаси нас!

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНСКИЙ



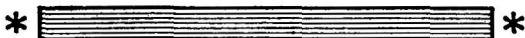
СОН ПСА

Цветной капусты в поле
хватает на всю жизнь —
знай нажирайся вволю
да костью не давься!
Ужо набью я брюхо
капустою цветной.
О, вольная житуха!
Я чудный пес цепной!

И ждет меня в алькове,
коль я туда зашел,
на четырех воловских
копченых ножках стол.
Сжираю все четыре,
осталась лишь доска.
В прекрасном этом мире
неведома тоска.

По лугу ходят телки,
их всех шестьдесят шесть —
сосиски, да и только,
их взять бы да и съесть,
так разом все сцепленье
аж в километр длиной.
О, чудное мгновенье,
о, мир прекрасный мой.
На горке лес дремучий,
стволы — как колбаса,
и вереск в нем пахучий,
как соус, разлился.
Я этот лес сжираю,
по мискам соус лью.
Живи, не умирая!
О, слава бытию!

Но — осень! С каждой ветки
дождинки — кап, кап, кап.
Чу! С веточек котлетки
летят. Но прочь из лап
их вырывает ветер,
в глаза мне брызжет жир.
Свинячий месяц светит.
О, что за свинский мир!



МЕЧИСЛАВ РОМАНОВСКИЙ



ПОЛЬСКИЕ СТЯГИ В КРЕМЛЕ

Сам батюшка царь перед храмом соборным
Слушает благовест звона.
А под сводом церковным, шепчась непокорно,
Польские никнут знамена.

— Слава, о, слава! — хоры запели, —
Ляшскому цепи народу! —
А сверху знамена в ответ зашумели:
— За вашу и нашу свободу!

— А, бунтовать? — царь сказал
непреклонно. —
Смерть всему ляшскому сброду! —
А сверху в ответ зашумели знамена:
— За вашу и нашу свободу!

Окончилась служба — ни звона, ни люда.

Взор свой к высокому своду

Царь поднимает, а стяги — оттуда:

— За вашу и нашу свободу!

Ю Л И А Н Т У В И М



ПЛЯШУЩИЙ СОКРАТ

На солнце жарюсь, лодырь старый...
Лежу, потягиваюсь, зеваю,
Я стар, но полон силы ярой;
Как хватану глоток из чары,
Так запеваю.

Мне солнце греет кости, кудри,
Седой, кудлатый череп мудрый,
И мозг, игралище вина,
Шумит лесным весенним шумом,
И вечные проходят думы,
Как времена...

Чего ты пялишься, Цирбеус?
Что думаешь? Лежит дурак...
Что? Выболтаны все слова?
Наговорился? А, так, так...
Ступай, пеки свой хлеба!..

Ученики из-за угла
Смеются: мол, спился Сократ,
Мол, кругом голова пошла...
Цирбеус! Каждый должен знать,
Что я дошел до самой сути!
Вот благо: пыль лизать с оград
Афинских улиц, выдувать
Из мыльной пены пузыри
Иль воду наливать в кувшины
И выливать... Все то же будет!
И лучше ты ко мне подсядь.
Брось дрызгаться в тягучем тесте!
Поди сюда — и выпьем вместе.
Вот чарочка, бери!

Ты что? Досадуешь, Цирбеус,
Что говорю не без запинки,
И что смеюсь чему попало,
И что средь бела дня на рынке
Валяюсь и вино лакаю, —
Мол, так магистру не пристало,
Мол, предстает в недолжном свете
Ученикам... Шалит, мол, старый,
Как дети, —
Он школяров не собирает,
Не проповедует с рассвета,
Он истин им не открывает,

Не подает советов...

Так, так, да, да...

Добро! Зло! Правда! Люди! Боги!

Благодеянье, вечность, слово,

И начинай сначала, снова:

Бог, люди, правда, зло, добро,

Республика, благие силы,

И вновь про это да про то...

Смешно, мой милый!

Вы слышали от Герифона,

Что я — мудрейший. Так отметил

Оракул Греции хваленый:

Он славою меня дарит,

А что мудрейший натворит, —

О!

Ведь разнится с деяньем слово,

И разнится добро со злом,

Когда мудрец хватил хмельного

И все в башке пошло вверх дном!

Глядите, как философ пляшет,

Кудлатый, с головою пса:

И гопца-ца, и гопца-ца,

И гопца-ца, и гопца-ца!

Глядите, как философ пляшет!..

Как пошли у старца ноги!

Зло и благо, люди, боги,

Верность, правда, вечность, Мойра,

Гопца-гопца, что ли, ой-ра:
Раз — направо, гопца-ца!
Раз — налево, гопца-ца!
Ловко, гибко, эй, Ксантипка!
Громче, музыка, играй!

Ну, Цирбеус, без заминки —
К нам в кружок! Пойдем по рынку!
Мудрый пляшет! Прочь с дороти
Благо, правда, люди, боги!
Гляньте, как танцую шибко!
Ох, припомнит мне Ксантипка,
Как плясал я без конца,
Гопца-гопца, гопца-ца!

Так навечно, так до смерти,
Пусть и небо пляску вертит,
То прыжок, то задом обземь,
Снова боком, гопца, гопца!
Не жалею старых ног,
Пусть возрадуется бог:
Понял истину Сократ, —
Пляшет, страшен и кудлат,
На край света пляску тянет,
Он — мудрейший, он — избранник,
Безобразник с мордой пса, —
Понял танец, понял танец,
Гопца-гопца, гопца-ца!

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



ПОКЛОН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Кланяюсь русской Революции
шапкой до земли, по-польски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам, войску!

Только шляпа в поклоне не вельможная:
над околышем нет перышка цапли!
Это ссыльная, польская, острожная,
плиссельбуржца Варынского шапка.

В холопах мы жить не охочи,
к царям не ходили с поклоном.
И с плеткою царской кончено,
подняться время пришло нам.

Кланяюсь праху Рылеева,
кланяюсь праху Желябова,
кланяюсь праху павших
борцов за народное счастье.

Мавзолей Ленина прост, как мысль.
Мысль Ленина проста, как деяние.
Деяние Ленина просто и велико,
как Революция.

Кланяюсь могилам Сталинграда
и могилам до Берлина от Москвы, —
после лет осколочного града
в Завтра мы по ним мостим мосты.

И на русской и на польской почве,
кровью политой и так любимой нами, —
жизнь в цвету: уже раскрылись почки
у могил с родными именами.

СТАНИСЛАВ РИШАРД СТАНДЕ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Низко над головами висело небо,
узкая улица впала в широкий плац,
шли люди, шли, исчезая направо, налево,
неся из глубоких бронхов города плач.

Билось о камень железо подков,
сверкала колючая сталь штыков.

Группы ожидали в коридорах улиц,
шепоты пролетали, как шифрованные
депешаи,
красные флаги, как крылья, тянулись
к памятнику поэта над толпою кипевшей.

Билось о камень железо подков,
сверкала колючая сталь штыков.

Кто-то выплыл, воздух рукою прорезал,
и зажгло тишину слово «набат»,
а площадь, словами опутанная, лезла,
колыхаясь, как море, вперед-назад.

Билось о камни железо подков,
сверкала колючая сталь штыков.

И тогда протянулись сотни рук,
флаги задрожали, как на ветках птицы,
воспламененные флагами лица в жару,
еще секунду — и площадь воспламенится.

Рысью! Рысью! И в цокоте подков
надвинулась колючая изгородь штыков.

Ни с места! Сейчас заколышутся птицы
и начнут чертить над головами круги,
а толпа когтями в мостовую вонзится
и тысячу камней зажмет в кулаки.

В галоп грохотанье тяжелых подков,
рвут и царапают когти штыков.

Над головами висело тяжелое небо,
красные полосы пятнали плац,
а люди уносили направо, налево
глубоких бронхов города протяжный плач.

Билось о камень железо подков,
сверкала колючая сталь штыков.

Д. Б. КЕДРИН



АДАМ МИЦКЕВИЧ



ПАНИ ТВАРДОВСКАЯ

(Баллада)

Носогрейки хлопцы курят,
Пьют в дыму, едят в дыму,
Пляшут, свищут, балагурят
И орут на всю корчму.

На скамейке пан Твардовский
Развалился, как паша.
Служит весь синклит бесовский
Колдуну. Гуляй, душа!

Он солдату-забияке,
Что с любимым подраться рад,
Погрозил лишь пальцем в драке —
И, как мышь, притих солдат.

Он судье подбросил в шапку
Злотый адского литья —
И, как пес, на задних лапках
Перед ним стоит судья.

Загулявшего портняжку
(Пропил тот штаны давно)
Щелкнул в нос, подставил чашку —
И рекой течет вино.

Ровно чарку гданской старки —
Крепкой водки, первый сорт! —
Нацедил, хлебнул из чарки,
Глядь туда — а в чарке черт.

Щуплый черт одет, как стражник —
В рваный плащ и сапоги.
Знать, нечистый не из важных:
Так, из адской мелюзги.

Вылез черт, собачьим когтем
Почесал сопливый нос,
Вырос на два — на три локтя,
Кашлянул и произнес:

«Ты, мосьпан, забыл, похоже,
Меж интрижек и пиров
Договор на бычьей коже,
Что твоя скрепила кровь.

Ведь, согласно договору,
Ты алхимию постиг,
Выполнял весь ад без спору
Сотни прихотей твоих.

И, как там писалось ниже,
Прямоту в делах любя,
Мы в Варшаве и в Париже
Все старались для тебя.

Вспомни ж, пунктами какими
Договор кончался наш:
Если мы сойдемся в Риме —
Там ты душу нам отдашь.

Пробил час... Ясновельможный!
Ты попался, старый плут.
Посмотри, неосторожный:
Ведь харчевню «Рим» зовут».

Огляделся пан Твардовский —
Да, над дверью надпись: «Рим».
Только шляхтич не таковский,
Чтоб отдаться в руки им.

«Что ж! — сказал, усмешку пряча. —
Помирать, так помирать.
Перед смертью три задачи
Вправе я тебе задать:

Здесь, в корчме, над самым входом
Видишь медного коня?
Оседлай-ка мимоходом
Эту лошадь для меня.

Конь-то будет из упрямых!
Свей мне шлетку из песка
Да построй высокий замок
Вон у этого леска.

Вместо дерева — орехи
В пятистенный сруб свяжи,
Зерна мака вместо стрехи
Аккуратно положи.

Да забей в орешек каждый
Три дюймовые гвоздя...
Я дворец такой однажды
Видел, по миру бродя».

Что поделать с окаянным?
Исхитрился ведь, шельмец:
Миг прошел — и перед паном
Конь храпит, стоит дворец.

«Тьфу ты, пропасть! Экий, право,
Прыткий бес!.. А все ж постой:
Окунись-ка, пане дьявол,
В пузырек с водой святой».

Бедный черт испуган насмерть,
Вытирает лапкой пот.
«У меня, — он стонет, — насморк,
От воды меня несет».

Лях решил: «Уж не избег ли
Я напасти? Струсил бес!»
Но, муштру прошедший в пекле,
В склянку черт, кряхтя, полез.

Вылез. «Ну, кричит, вот баня!
Фу! Поддал ты пару мне!
Марш теперь, вельможный пане,
На расправу к сатане!»

«Не спеши! Помедли малость! —
Черту шляхтич говорит. —
Дельце тут еще осталось,
Сладись с ним — мой козырь бит.

Слышишь — визг несется с луга?
Дело клонится к тому,
Что сейчас моя супруга
К нам пожалует в корчму.

Я с большой охотой, право,
Спрячусь в ад на два-три дня,
Коль возьмешься ты, лукавый,
Заменить при ней меня.

Будь ей, бесе, вместо няни,
Угождай, войди в фавор,
А прогневается пани —
Расторгаем договор».

Черт на пани только глянул,
Грозный голос услышал —
К двери в ужасе отпрянул,
По корчме метаться стал.

«Что ж ты мечешься без толку?
К делу, бес! Без дураков!..»
Черт согнулся, юркнул в щелку,
Запищал — и был таков!

М. С. ПЕТРОВЫХ



БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН



НА СОЛНЦЕ

Дыша покоем дня,
Недвижен пруд зеленый.
Свисает хмель с плетня,
Иссохший, пропыленный.

Средь лужи, в колеях, —
Отображенье тына,
Гусиной шеи взмах,
Березы половина.

Во всю длину забор,
Дневным лучом разъятый,
На ближний косогор
Лег тенью полосатой.

Я лажу частокол,
Я веять жито буду.
Я в этот мир пришел —
И не стремлюсь отсюда!..



СОЛДАТ

Воротился служивый из похода весною —
Колченогий, недужный, с перебитой спиною.

Был он пулями злыми исхлестан, простеган,
Не ходил он иначе, как только с подскоком.

Стал потешником горя, скоморохом недоли,
Забавлял мимошедших каждым вывертом боли,

И страданий притопом, и печалей приплясом,
И замедленной муки лихим выкрутасом.

Дотащился до дому: «Эй, проваливай живо,
Не работник ты в поле, хоть и скачешь
ретиво!»

Он добрался до кума, что в костеле звонарил,
Тот узнать не подумал, было чуть не ударил.

Постучался он к милой, а та рассмеялась,
И плечами и грудью, хохоча, сотрясалась.

«Как в постели с калекой танцевать мне
до смерти?
Лишь на треть человека, а прыжков на две
трети!

Мне твои переплясы не милы, не любы,
На усах твоих жестких не уснут мои губы!

Видно, метишь высоко, скачешь к самому небу!
Уходи-ка ты с богом, не кляни и не требуй!»

Вдаль пошел по дороге — и пришел он
к распятию:
«Иисус деревянный, не возьму я в понятие —

Чьей рукой, точно на смех, ты вытесан, боже?
Красоты пожалели и дерева тоже.

Кто тесал твои ноги, безумец незрячий?
Ходишь, видно, вприскокчу, не можешь иначе.

Ты такой никудышный, такой колченогий, —
Мне товарищем добрым ты был бы в дороге».

Слыша это, распятый на землю спустился.
Тот, кто вытесал бога, зная, рассудка решился:

Руки — левые обе, ноги — правые обе
...Как ходить, Иисусе, при твоём кривонопии?

«Я из хворой сосенки, но хожу я не худо,
Вечность пешком пройду я, недалёко дотуда.

Мы пойдём неразлучно единой дорогой —
Что-то от человека и что-то от бога.

Можно горем делиться, мы разделим увечье,
Изубожены оба рукой человеческой.

Кто смешней — ты ли, я ли, — ни один
не уступит,
Первым кто рассмеётся, тот первым полюбит.

Подопреши меня телом, а тебя я сосною.
Пусть вершится, что должно, над тобою
и мною!»

Взявшись за руки крепко, пошли без промешки
То несспешным подскоком, то хромою
пробежкой...

Сколько времени длилось пребывание в дороге?
Где часы, что отмерят безмерные сроки?

Дни сменялись ночами, исчезая в безвестье,
Миновало бесполье, безречье, безлесье.

ЮЛИАН ТУВИМ



КВАРТИРА

Тут всё не наяву:
И те цветы, что я зову живыми,
И вещи, что зову моими,
И комнаты, в которых я живу;
Тут всё не наяву,
И я хожу шагами не моими, —
Я не ступаю, а сквозь сон плыву.

Из бесконечности волною пенной
Меня сюда забросил океан.
Едва прилягу на диван —
Поток минувшего умчит меня
Мгновенно.

Засну — и окажусь на дне.
Проснусь -- и сквозь редящий туман
Из темных снов доносится ко мне
Извечный, грозный гул вселенной.

ВЕТЕРОК

Ветерок в тиши повеял
Легкокрылый.
Над рекою одиноко
Я стою.
Я не знаю — что творится,
Жизнь застыла.
Цепенею, предаваясь
Бытию.
То смятенье, что мне душу охватило,
Узнаю.

Что-то в воздухе метнулось,
Отступило.
Так же было пред бездонным
Первым днем.
Чей-то лик пучина отразила.
Веет легкокрылый.
Вечность близится незавершенным
Сном.
Как бы жизнь мое начало ни таила —
Я узнал о нем.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНСКИЙ



СПЯЩАЯ ДЕВОЧКА

Доченька, спи. Ночь приближается мерно
Полным составом нот, тишину дробя.
Если прислушаться, в этой ночи, наверно,
Отыщется что-то и для тебя:

Месяц и улочка, что, забирая правей,
Сворачивает в мирозданье,
И ветер для легких твоих кудрей,
И тень для щеки твоей,
И для сердца — страданье.



САНИ

Ночь на басовой струне.
Месяц — высоким сопрано
в тучах над скрытыми снегом полями.

Стужа. Зима.
Где там зима,
если поет соловьями!

Темный ветер просквозил дороги.
В тучах месяц заблестел двурогий,
в щели тьмы лесной проник до дна.
Путь во мраке, в лунных бликах чащи.
Трех бубенчиков напев звенящий
повторяет чьи-то имена...

Серебристый заяц пересек проселок.
Серебристый луч на филина упал.
Снег пошел и сразу перестал,
дремлет снег на елках и меж елок.

Это не филин —
месяц двурогий.
Снег обессилен,
спит на дороге.
Видишь — мерцанье,
блеск на сне.
Едут сани.
Дремлет снег.
Лес да лес,
блеск да темень,
и яблоком на ладони
время.

Лицо. И глаза, что погаснут с моими. Это
моя рука. Это твоя. И звон бубенцов.
Разлука — тьма. Лицо — светлее света.
Твое лицо.

Твое лицо. Из слез серебряных весь
трехзвучный звон о дальнем,
о безутешном.

Твое лицо. Лицо твое здесь, —
сияет солнышком вешним.

Три имени. Звон трехзвучный в тиши
мороза.

И вот уже виден дом, ворота, крыльцо.
Ель отряхнула снег на веселые слезы.
Солнышком вешним светит твое лицо.

Месяц обнаружил все дороги —
мрак морозный в голубом огне.
Наши сани окружает стужа.
Время огоньку блеснуть в окне.

Едут сани, тень ползет по снегу:
шапка, и оглобли, и супонь.
Снег искрится. Перебор трехзвучный,
как звонарь, вызванивает конь.

Напишу чернилами из сердца,
веткой на снегу пустых полей,
греческим и римским алфавитом
напишу: ты солнышка светлей.

Лютиками напишу весною,
летом — облаками в вышине.
Как прочтут написанное птицы —
раззвонят в беспечной болтовне,

занесут, быть может, в век иной,
и в сердца иные, и, неожиданно,
в чью-то ночь с басовою струной,
в месяц, в месяц — звонкий, как сопрано.



ЮЛИАН ТУВИМ



ЯНЕК

Жил на свете Янек,
Был он неумен.
Если знать хотите —
Вот что делал он:

Ситом черпал воду,
Птиц учил летать,
Кузнеца просил он
Кошку подковать.

Комара увидев,
Брался за топор,
В лес дрова носил он,
А в квартиру — сор.

Он зимою строил
Домик ледяной:
— То-то будет дача
У меня весной!

В летний, знойный полдень
Он на солнце дул.
Лошади уставшей
Выносил он стул.

Как-то он целковый
Продам за пятак.
Проще объяснить вам:
Янек был чудак!



ПТИЧЬЕ РАДИО

Внимание! Внимание!
Сегодня в пять часов
Работать будет станция для роц и для лесов!
Сегодня в нашу студию
(Внимание! Внимание!)
Слетятся птицы разные на радиособрание!

Во-первых, по вопросу:
Когда, в каком часу,
Удобнее и выгодней использовать росу.
Второй вопрос назрел давно:
Что эхом называется?
И если есть в лесу оно,
То где оно скрывается?
По третьему вопросу
Докладывает Дрозд,
Назначенный заведовать ремонтом птичьих
гнезд.

Потом начнутся прения:
И свист, и скрип, и пение,
Урчанье, и пиликанье,
И щебет, и чириканье.
Начнутся выступления
Скворцов, щеглов, синиц
И всех без исключения
Других известных птиц.

Внимание! Внимание!
Сегодня в пять часов
Работать будет станция для роц и для лесов!

Наш приемник в пять часов
Принял сотню голосов:
«Фиур-фиур! Фью-фью-фью!
Чик-чирик! Тью-тью-тью-тью!

Пиу-пиу! Цвир-цвир-цвир!
Чиви-чиви! Тыр-тыр-тыр!
Спать-пать-пать! Чу-ик! Чу-ик!
Тень-тень-тень! Цик-цик! Цик-цик!
Гур-гур-гур! Ку-ку! Ку-ку!
Ко-ко-ко! Ку-ка-реку!
Карр! Карр! Пи-ить! Пи-ить!»

Мы не знали, как нам быть!
Очевидно, в этот час
Передача не для нас.



АЗБУКА

Что случилось? Что случилось?
С печки азбука свалилась!

Больно вывихнула ножку
Прописная буква М,
Г ударилось немножко,
Ж рассыпалось совсем!

Потеряла буква Ю
Перекладинку свою!
Очутившись на полу,
Поломала хвостик У!

Ф, бедняжку, так раздуло —
Не прочесть ее никак!
Букву Р перевернуло —
Превратило в мягкий знак!

Буква С совсем сомкнулась,
Превратилась в букву О.
Буква А, когда очнулась,
Не узнала никого!



ОВОЩИ

Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесла:

Картошку,
Капусту,
Морковку,
Горох,
Петрушку и свеклу.
Ох!..

Вот овощи спор завели на столе —
Кто лучше, вкусней и нужней на земле:

Картошка?
Капуста?
Морковка?

Горох?
Петрушка иль свекла?
Ох!..

Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала:

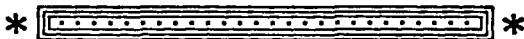
Картошку,
Капусту,
Морковку,
Горох,
Петрушку и свеклу.
Ох!..

Накрытые крышкой, в душном горшке
Кипели, кипели в крутом кипятке:

Картошка,
Капуста,
Морковка,
Горох,
Петрушка и свекла.
Ох!..

И суп овощной оказался не плох!

К. М. СИМОНОВ



ЮЛИАН ТУВИМ



Я КРОХИ ЮНОСТИ СОБРАЛ...

Я крохи юности собрал. Что ж, птицам
их швырнуть?
Иль, может, их в слова вложив, пустить слова
летать?
Слова и птицы улетят и, завершив свой путь,
Ко мне обратно — тут как тут, и снова будут
ждать.

Что скажешь им? Что больше нет крох
юности моей?
Поверят? Нет! Начнут кружить, как мертвая
листва,
Крылами в стекла будут бить, и у моих дверей,
Оставшись верными, умрут и птицы и слова.

ОПЕЧАТКА

**В жизнь поэта вкралась опечатка,
Путаница в тексте на виду —
Требуется авторская правка:
От рожденья на сороковом году,
На каком от смерти — неизвестно,
Автор просит все исправить вновь:
В тексте вместо слова «безнадежность»
Следует опять читать «любовь».**

Время страданья однажды пружину ломает,
И для начала на рынке глаза засверкают,
Огненным взглядом насквозь прожигая округу.
После — дома, покачнувшись, прижмутся друг
к другу.

Вслед за домами, пройдя по заоблачным
безднам,

Вдруг засияет заря в полумраке небесном.
Бешеный ветер ворвется вослед за зарею,
Крики о мщенье и вопли влача за собою.
Ангелы божии тот ураган составляют;
Он словно пламя горит, как алмазы сияет,
Он в Свентоянских виденьях явился когда-то.
Ветер подхватит и мщенье, и грома раскаты,
Темную улочку перегородит и грозно
В ней закипит, словно в горне кипящая бронза,
Чтоб эта улочка, вздрогнув от ветра сначала,
После волом сицилийским на город мычала.

Воры сердец наших в это мгновенье учуют,
Что ураганы на город из улочки дуют.
Крик сквозь гармонию звуков прорвется
над нами,

За кафедральный собор задевая крылами,
Замок охватит, разверзнет ему его лоно,
После ударится он в Сигизмунда колонну,
Чтоб ее камни, как горное эхо, звучали,
Напоминая о грустном далеком хорале.

Вставший над улицей тихий собор
кафедральный.

Разноголосые крики и вой урагана
Город метнет, как глухие аккорды органа,
Громче и громче, покуда с гармонией сонной
Он не покончит, столкнув ее с камнем колонны.

В это мгновение сызнава вопли услышат —
Уличный «Vivat», — из тех, что природу
колышут;

Уличный «Vivat», — такими душа окрылится,
Так что она затрепещет, забьется, как птица;
Крик, от которого сердце застонет, заноеет,
Так, что ни смеха, ни слез оно больше не скроет.
Пели, как ангелы, адскими духами выли
Люди, которые крик этот в душу пустили.
Этакий крик, этот гул ураганный и шквальный,
Вдруг разобьется о мощный собор
кафедральный,

Дальше рванется, а вслед, словно дьяволы ада,
Камни завоют, и стен зарыдает громада.
Но вслед за этим иное услышится слово:
Хор голосов воспоет воскресенье Христово.

Прежде чем смолкли аккорды гармонии сонной,
Этот же ветер на каменной арфе колонны
Тронул струну. И колонна, качая вершину,
В то же мгновенье соборный хорал заглушила.

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



ЧТО МНЕ ГРУСТИТЬ!

Была бы в руках винтовка, а к ней бы
патроны были,
и что мне песок ливийский, что мне снега
Сибири,

что мне цинга, и голод, и тюрьмы с лагерями —
солдатским весельем сумку набью,
а не сухарями!

К чему ордена любые, к чему мне лавры славы,
нужны сапоги покрепче, чтоб в них дойти
до Варшавы,

чтоб по святым панелям те сапоги гудели,
что в Тобруке мы подбили, а в Нарвике
мы надели.

Много дорог протоптано, много стран
миновалось.
Под каждой стопой солдатской польской земля
оставалась!

Что мне искать сокровищ, песня — все, что
мне надо.
Мой дом в сентябре разбили семь немецких
снарядов.

Садик — цветы и травка — возле дома вырос...
Семь немецких снарядов хочу из садика
выгрести!

Любимую с детства землю, родную хочу
целовать я,
а если пасть — то в Польше, с песком
мазовецким в объятье.

Что мне грустить, товарищ! Сквозь континенты
проходим,
наши летят эскадрильи нашим вослед
парходам.

Мы покажем миру, что в Польше мы родились,
была бы в руках винтовка, подметки бы
не прохутились.

ТЕЛА

Миру — благо,
миру — прибыток,
а мне немного:
тела убитых.

Если поднимут
воскресших из тла,
мир обнимут
убитых тела:

тела детей
со дна крематория
будут лететь
над всей историей,

тела девчат,
тела юнцов,
над ними чад
терновых венцов,

тела солдат,
что во рвах ютятся,
пойдут побеждать —
освободятся,

тела из траншей,
из могилоч временных,
с веревкой на шее,
тела расстрелянных,

тела затоптанных,
тела гонимых,
нахлынут толпами
непримиримых!

Докажут делом
свою правоту!
А мне с одним телом —
невмоготу.



ДУБ

Я иду, и на ходу меня шатает.
Жизнь с меня, как лист осенний, облетает.
Что за лист? Дубовый ли, кленовый?
Все равно не вырастает новый.

Что ж? Любви немного было,
Было и добро и зло,
Много гнева, нежности и пыла —
Все прошло.

Листья, листья рвутся, и на каждом —
Имя! Имя — на любом листке.
Назови торжественно и важно
Имена родные те.

Нет! Осенний ветер
Снова принимается качать
Цепкие, нагие ветви.
Больше мне счастливым не бывать.

Голый ствол один белеет,
А над ним — метели белый клуб.
Ну так что ж! Смелее!
Это я — тот дуб.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

●

ИНГА БАРЧ

*Инга Барч, актриса, после переворота сгнувшая
при таинственных обстоятельствах...*

Вот слово об Инге Барч,
сказанное как можно откровеннее
для будущего поколения.

Она была рыжая, но не совсем — у волос был
особый блеск.

Жила с Финком. Финк был режиссер.

В коммунисты из снобизма он лез
(есть такие и на Мазовецкой).

А Инга? В Инге был какой-то привкус
немецкий,
этот акцент в слове «Mond» — луна...

der Mond, im Monde...

А Финк был дурак, но одетый модно.

Простая история: только что я рубеж переехал
польский...

И все произошло, как в театре:
сидели мы с Ингой в Тиргартене,
а осень в Берлине в Тиргартене —
это, прошу прощенья, такие струны...
С деревьев сеялась мгла,
ветра низкий бас,
и внезапно Инга: — Wiffen Sie waf?
(Что-то у ней было не то с голосом, не то
с зубами.)

Wissen Sie was? ¹ Жить
мне надоело.

— Гм. —

Я взглянул на нее, папирсой дымя, —
я не Выспанский, но как-никак
ее афоризм взволновал меня.

Но слишком поздно: револьвер не больше
розы —
паф! — и Инга погрузилась в вопросы
метафизики немецкой.

Толстяк, что рядышком в кружку свою
погрузился,
даже не вздрогнул, не поразился,
такое «паф» могло бы убить только младенца.

А потом ее ресницы стали еще длиннее;
труп пахнул осенью, черным кофе, грибами
и абсурдом.

¹ Знаете что? (нем.)

Барч, Инга!

Жалко.

Твой талант мог стоить немало стерлингов.

Инга Барч!!!

Я вернулся в отель.

Сорок трубок за ночь — комната аж

почернела от дыма...

Нет, так нельзя: слишком просто — скука.

Надо как-нибудь переиначить,

комментарии присобачить,

например, кровавая жертва режима,

подозрение, что в родне — семиты.

Гнилая морковь в лагере... подбавить пыла.

Выйдет строк на триста фельетон знаменитый.

(В Польше это именуют «кобыла».)

Осенью это случилось,

года три назад, допустим.

Итак, если редактор позволит,

пойдет так:

«Не выдержав удушливых тисков режима,

Инга Барч, актриса,

исчезла при загадочных обстоятельствах
после переворота».

А для концовки из Рильке что-то

о любви,

об одиночестве,

а заголовок просто: Инга Барч.

Беда!
Хороша.
Молода.
Плечи — что бархат персидский...

И было в ней что-то
женственное,
неуловимое,
далекое,
то, что нужно хватать когтями.

Д. С. САМОЙЛОВ



ЯН КОХАНОВСКИЙ



ТРЕН

Злосчастная одежда, грустные наряды
Возлюбленного чада!
Почто мои взоры вы влечете неволью,
И так тоски довольно.
Она в свою одежду уже не облачится
И к нам не возвратится.
Сон сковал ее вечный, суровый, железный...
Летничек бесполезный,
Материнский подарок, ленточки, поясочки —
Ни к чему моей дочке.
Не на эту постельку, не на смертное ложе
Мать мечтала — о боже! —
Возвести свою дочку, шить наряд
венчальный,

А дала погребальный,
А дала рубашонку да грубой холстины,
А отец комья глины
Положил в изголовье. Так вместе с приданым
Спит в ларе деревянном.

ЦИПРИАН НОРВИД



ПАМЯТИ БЕМА ТРАУРНАЯ РАПСОДИЯ

...Iusiurandum patri datum usque
ad hanc diem ita servavi...

*Annibal*¹.

1

— Тень, зачем уезжаешь, руки скрестив
на латах?
Факел возле колена вспыхивает и дымится.
Меч, зеленый от лавра, реет в громах
крылатых,
Сокол рвется, и конь твой пляшет, как
танцовщица.
Веют легкие флаги, переплетаясь в тучах,
Как подвижные палатки в лагере войск
летучих.

¹ Клятву, данную отцу, так хранил до сегодняшнего дня... (лат.). Ганнибал.

Воют длинные трубы, захлебываясь: знамена
Клонятся, словно птицы с опущенными
крылами,
Словно сбитые копьями ящеры и драконы,
Копьями, что когда-то ты прославил делами.

2

— Плакальщицы идут. Одни простирают руки
И поднимают снопы, разодранные ветрами.
Иные — слезы в ладони, как в раковины,
собирают,
Иные — ищут путей, что найдены были
веками.
Иные — роняют наземь глиняные кувшины,
Усугубляя печаль звоном разбитой глины.

3

— Хлопы бьют в топоры, синие, словно небо,
Служки колотят в щиты, рыжие, словно
пламя,
В тучи упершись древком и трепеща
от гнева,
В клубах черного дыма реет огромное знамя.

4

— Входят, тонут в ущелье... снова выходят
на свет,
 Снова чернеют в небе — холодный свет
их коснулся, —
 Снова черные пики месяц на небе застыт.
 Смолкнул хорал и снова, словно волна,
всплеснулся.

5

— Дальше-дальше — покуда перед тобой,
как бездна,
 Не предстанет могила, смертный рубеж,
который
 Не перейти живому. Тогда мы пикой железной
 Сбросим в пропасть коня, словно старинной
шпорой.

6

— И полетемся вдаль с песнею похоронной,
 Урнами в двери стуча, посвистывая,
как непогода,
 Так что рассыпятся в прах стены Иерихона
 И спадет пелена с глаз и сердец народа.

 Дальше-дальше...

ЮЛИАН ТУВИМ



ПАРИКМАХЕРЫ

Чаплину

Вдоль стен пустой парикмахерской
парикмахеры дремлют часами,
Ждут, глядят — нет клиентов, томятся,
без дела шатаются.
Сами бреются, сами стригутся — все сами
и сами.
Перемолвятся словом, задремлют, всхрапнут
и опять просыпаются.
Смотрят в окна — в окнах по-прежнему пусто.
Смотрят в зеркало — в зеркале тоже одни
парикмахеры,
Чисто выбриты, скорбно приглажены, пудрены
густо,
Как с картинки, красивые, тупо глядят
парикмахеры.
Читают газеты, свистят, ищут прыщик
на коже,

Ходят-бродят, ожидают чего-то покорно,
Перед зеркалом кланяются, строят зеркалу
рожи

И зевают, глотают воздух снотворный.

Назревает гроза, посинело вокруг, петухи
распевают.

Парикмахерам страшно, забегали — слышите:
гром!

Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры
ошалевают,
То стоят истуканами, то срываются с места
бегом.

Шевелятся с опаской, дрожат до сердечных
колик,

Озираются тоже с опаской, стоят осторожно.
Зачарованно смотрят на сверкающий никелем
столик,

Что-то шепчут при этом беззвучно, тревожно.

И потом, одурев, лезут на стену, машут руками,
В плоском зеркале — плоские («Вон оно,
там!»)

Парикмахеры пляшут, вопят и, подхваченные
сквозняками,

Стаей ангелов впархивают в зеркальные
плоскости рам.

Понесло меня, Ноя, Улисса, забросило в омут,
В даль кипящих путей и в мое человечье
хожденье.

Дева-песенница — лунным светом течет ее
пенье,
Сладкой жалобой льется, струится и тает
истомой.

Пусть мне кто-нибудь добрый монеты на очи
положит,
Самый добрый — пускай мне отравленный
кубок протянет,
Встань, моя Пенелопа, склонись у последнего
ложа,
Я вернулся к тебе — и опять меня в странствия
манит.

Видишь? В окнах она все поет и все так же
ярится,
И глаза не отвести от чешуйчатого
наважденья.

Слышишь? В паводок манит жестокая эта
певица
Зовом первой любви, от которого нету спасенья.

Океан принесла, чтобы выл под моими
стенами,

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНСКИЙ



МАСТЕР ЛЮБИЛ УЛИЦУ

(Из поэмы «Вит Ствоиш»)

На меня, старушку-
попрошайку, глянул,
и на нас, игрушки,
и на нас, на жбаны;

поболтал со мною,
с каменным павлином,
птицею резною
с ограды старинной;

за оконцем этим
повернул направо
и меня, букетик,
потрепал лукаво.

Потом пошел дальше,
вон за той косою,
уронил тот ландыш
под тою консолью.

А я, конь, с разбега
мог сбить ненароком,
а там стоит небо
в пламени широком.

Пожар нынче пятый,
есть где поднабраться,
спешат босопяты,
бегут голодранцы,

инвалиды, старцы,
игроки, придурки.
А пожар разметался,
мечет искры в проулки.

Гаснет. Темень ложится.
На дворе хруст морозца.
А улица мчится,
улица вьется.

Та на холм удирает.
Та внизу остается.
Короли помирают.
А улица вьется.

Рань уходит дневная.
В небе месяц смеется.
И все, как шальная,
улица вьется.

Через площади, рынки
быстро, быстро — к разлуке,
сквозь кривые ухмылки,
сквозь воздетые руки.

По весне смерть стучится,
рыбка — по заговенью.
Ну, а после — ослица
в вербное воскресенье.

А та улочка в горку
уходит все выше.
Лютня спела и смолкла.
Из-за туч солнце вышло.

Осень листьями крыта.
Звон струны еле слышен.
Поглядите на Вита —
он к нам ближе и ближе.

БРУНО ЯСЕНСКИЙ



СЛОВО О ЯКУБЕ ШЕЛЕ

Вступление

Белой ночью по гумнам черным,
обомшелым, укрытым мглой,
я собрал эту песнь по зернам
и принес — кровавой и злой.

Размахалася осень над чернью полей
в такт глухому вороньему граю.
На остаток крапленых своих козырей
в дурака я со смертью играю.

Может, завтра поедет трактор
по полям, пестрее заплат,
и, как черный, злой арендатор,
заграбастает землю закат.

Там, где был овраг и пригорок,
где бродил бороздою плуг,

встанет серый каменный город,
сад заляжет на сто округ.

И как ночь распылит созвездья
на подлунных своих куполах,
запылают в каждом проезде,
словно яблоки, гроздья ламп.

Ночью белой из-за перелесиц,
когда день устанет кружить,
выходила та песнь под месяц,
на него по-собачьи выть.

Песьей цепью гремела в бурьянах частых
и шаталась в завалах блеклой ботвы.
Когда утром ее напугал подпасок,
было поле в подтеках алой крови.

И однажды та песнь навалилась, затерла,
в жизнь вошла, придавила, велела —
служи!

И вырвала с кровью язык из горла
и вместо него вложила ножи.

Заскулила зима: «А я все молча!»
Причитала: «Согрейте!» Охала: «Кровь!»
А за пазухой что-то голодное, волчье
накормилось сердцем, прогрызло нутро.

Когда весны отворят двери
и сердца зацветут, как дол,
сядем мы на одной вечере,
будет мир, как единый стол.

Встанет день, безоблачен, ярок,
когда мы ему крикнем: «Встань!»
Каждый выберет лучший подарок,
принесет ему лучшую дань.

И в тот день, краснолицый, просторный,
возвещенный шквалом времен,
смоем мы кровавый и черный
цвет с судеб, и тел, и знамен.

И ему — пусть увидят люди,
что трепещет сердце, как карп, —
поднесу на глиняном блюде
эту песню — свой лучший скарб.

ЗБИГНЕВ ГЕРБЕРТ



ЕСТЕСТВЕННИК

Его лица никак я
не припомню.

Он возвышался надо мной,
расставив долговязые ноги.

Я видел:
золотой брелочек,
пепельный сюртук,
худую шею,
на которой болтался
увядший галстук.

Он первый показал нам
лягушачью лапку,
которая неумоимо трепетала,
проколота иглой.
Сквозь золотую линзу

он ввел нас в тайное существование
нашего дальнего пращура —
кукушкина башмачка.

Он нам принес
темное зернышко
и назвал его: спора.

По его настоянию
десяти лет от роду
я испытал отцовское чувство,
когда, после томительного ожидания,
из ветки каштана, поставленной в воду,
проклюнулся желтый побег.
И все зацело
вокруг.

На второй год войны
мучители истории
убили учителя естествознания.

Если он вознесся на небо,
то, наверное, ходит теперь
на длиннющих лучах,
обутых в серые чулочки,
с большущей сеткой
и зеленым ящичком,
который весело болтается на боку.

Если же он не попал на небо...
Я на лесной тропке,
встречая жучка,
одолевающего песчаный бугорок,
подхожу к нему,
раскланиваюсь
и говорю:
— Добрый день, пан учитель,
позвольте, я вам помогу, —
и переносу его бережно,
и долго гляжу ему вслед,
покуда он не исчезнет
в темной учительской,
расположенной на конце листика...

Б. Ш. ОКУДЖАВА



ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ



ЗАВЕСА

I

Шумливое сплетенье голосов
вокруг людей, вокруг предметов...

Слова — они, как тонкая завеса,
которая спадает
в тишине.

И проступают краски
и очертанья.

Завеса детства
соткана из многих солнц,
из ручейков, и птиц, и из деревьев,

из рук и жестов,
и из губ и слов...
Она спадает...

Завеса молодости —
стаи черных туч
слетаются над тихими полями,
кровь по лицу земли стекает
и брезжится зеленая надежда...

II

Завеса детства —
руки, полные любви,
ткут первую завесу,
руки матери
и хлеб и молоко даруют,
огонь творят из дерева, —
и первый свет в глаза струится...

Завеса детства —
первая звезда,
снег первый,
вода, земля, и небо,
и страха круглые глаза;
завеса детства —

медведь, танцующий вприсядку,
играющие на бутылках псы,
носы из красного папье-маше,
и смерть с косой,
и скоморох,
пронзенный шпагой...

Слова — они, как тонкая завеса,
которая спадает в тишине.

III

Завеса молодости —
молнии и тучи,
хрустальные хребты,
и замки снежные,
и пляшущие красные сердца,
и головы, горячие, как пламя...

Вот целый мир открыт...
Лес поднимается,
в огонь, в огонь идет...

И стаи черных туч
кружатся над умолкшими полями,
и входит в сердце острое ребро,
а сердце — бьется,
кровь по лицу земли стекает.

Но брезжится надежда —
она рождает жизнь...

Разорванная от земли до неба,
спадает
молодости пелена.

СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК



ЛЕВ

Это единственный голый король, что
не унижен.
Даже, больше того, нагота его мышцы
подчеркивает
И широкую грудь, переходящую в голову,
Увенчанную лбом.

Это единственный полнокровный политик. Он
может
Всякое место раскрасить в цвет крови,
на каждом
Камне остроконечном оставить
Сломанный клык.

Впрочем, когда он умрет, его ребра
Будут гиены обгладывать, и стервятники
рвать, и шакалы
Растаскивать его тело,
Однако в молчании,
В молчании траурном.

ГРУДЬ КОРОЛЕВЫ ВЫТОЧЕНА ИЗ ДЕРЕВА

Руки королевы намазаны жиром
Уши королевы заткнуты ватой
У нее — вставная челюсть из гипса
Из дерева выточена грудь королевы

А у меня язык от вина жаркий
И горячая слюна во рту пенится
Но из дерева выточена грудь королевы

В доме королевы вянут желтые свечи
В постели королевы стынет старая грелка
Зеркала королевы затянуты брезентом
И шприц ржавеет в стакане королевы

А у меня живот молодой упругий
Зубы настроены как инструменты
Но из дерева выточена грудь королевы

Опадают листья — волос королевы
Паутина из глаз королевы виснет
С тихим вздохом лопается сердце королевы
И дыхание на стекле оконном желтеет

А у меня голубь в этой корзине
И шаров золотых целая связка
Но листья волос королевы опадают.

Е. М. ВИНОКУРОВ



ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ



НОВОЕ СОЛНЦЕ

Я слышу, кто-то царапается.
Это старушка царапает
ногтями стену
и кашляет, как зверек.

Вот я иду к ней.
И сажусь за круглый столик,
а она вызывает духов,
попивая из блюдца чаек,
как птичка,
маленькими глотками.

На этажерке — господа
с бородками
«jenseits von Gut und Böse»¹.
Последняя четверть XIX века.

Она трясет
сухонькой головкой
и рассказывает о Венеции,
о Флоренции,
о солнце Италии.

— Я баронесса.
Это конец света.
Теперь выдумали новые звезды
и новое солнце, —
она говорит,
и слезы застилают ей глаза.



КАШТАН

Очень грустно выезжать
из дому осенним утром,
когда ничто не предвещает
скорого возвращения.

¹ По ту сторону добра и зла (нем.).

Каштан перед домом, посаженный
отцом,
растет в наших глазах.

Моя мать маленькая,
ее можно носить на руках.

На полочке стоят банки,
в которых варенье.
Как богини
со сладкими губами,
они сохранили вкус
вечной юности.

Солдатики в уголке шкафа
уже до скончания мира
останутся оловянными.

А всемогущий бог,
который подмешивал
к сладостям горечь,
висит на стене
беспомощно,
он плохо нарисован.

Детство —
стертое изображение
на звонкой золотой монете.

КОГО ЗДЕСЬ НЕТ

*Памяти Збышка,
моего маленького ученика*

Кто утонул?
Кого здесь нет?

Кто так дико кричит?
Кто молчит?

У кого нет рта?

Что это?
Что всплывает?
Как ужасно разрастается
это маленькое тельце!

Такая сутолока, столько слов!
Кого здесь нет?
Это он.
Это милый парень
превратился
в вещь
молчащую,
которая выплывает из воды
и раздирает мать.



ЦИПРИАН НОРВИД



ВРЕМЕНА

История мертва, мертва эпоха,
А строить можно в бездне безграничной.
Виват! — но почему еще столь много
Людей различных и разноязычных,
Разноплеменных, кровью истекая,
Сердцами тянется к родному краю?

История не кончила работу.
У тех, кто выжал глыбу, права нету
Присесть, расслабиться хотя б на йоту —
Не то раздавит плечи глыба эта...

История не кончила работу,
Ведь совестью не обожгло планету!..

МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ



ПОЦЕЛУЙ РОБЕРТА ЭММЕТА

Где-то на востоке утро дремлет.
На голгофу всходит Роберт Эммет.
А округа сном глухим объята.
И ни друга рядом, и ни брата.

— Где ж вы, братья, дорогие други?
Не пожать вам на прощанье руки.
Вот она, последняя дорога,
И идти осталось недалеко.

В голубое небо смотрит Роберт.
— О народ ирландский, час мой пробил.
Храбро за твое сражался благо,
И меня не испугает плаха.

.
Барабаны Роберта торопят:
«Ты кончай свою молитву, Роберт».
И угрюмо заступ землю роет:
«Попрощайся с белым светом, Роберт».

Роберт Эммет поглядел на плаху.
— О Ирландия, умру без страха.
Ты всегда была моей надеждой,
И тебе молюсь я с верой прежней.

Роберт Эммет расправляет плечи.
— Умирать мне было б много легче,
Если б ты, о мой народ ирландский,
Взял поцеловал меня по-братски.

Роберт Эммет простирает руки.
— Принимаю я Христовы муки! —
И в начале страшного обряда
Палача целует, словно брата.

.
Барабаны бьют, тоской наполнясь.
Над своим солдатом плачет вольность.
И стучит о крышку гроба глина:
Мать-земля оплакивает сына.

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ



ПОСЛЕДНИЙ КЛИЧ

День голода, огня, войны и недорода
из исторической выходит ночи.
И я, как древние, пророчу,
ведь я поэт, моя душа — свобода.

Мой голос — голос многих вод,
и в нынче, в гибели и море,
мчат Четверо на запад и восход.
Горе! Горе! Горе!

Горе вам, уверившимся в мощи
Вавилонов, ростом выше гор,
страшный день рождается из ночи.
Будут голод, и пожар, и мор.

Живая, но уже умершая,
явит дела зловещие
цивилизация ослепшая:
наряженная в пурпур женщина.

Нарастают ужасы.
Разгневана история.
Города обрушатся.
Сгорят лаборатории.

Потопов новых слышу рокот
и топот миллионов ног.
И выбор у меня широкий
речей, поступков и дорог.

В свои раздумья углубленный,
как Иксион, вещаю я:
все реки новых Вавилонов
ждет апокалипсиса явь.

И вот тогда средь мора, вихря,
огня, войны и недорода
бутылкой с тонущего брига
пвырну последний клич: «Свобода!»



О СОЛОВЬИНОЙ ЖЕСТОКОСТИ

Велела писать мне о роще.
Пищу. Да вот мысли гуляют,
по майской несет меня ночи —
так в мае бывает...

В газетах то атом, то Черчилль.
Я радио слушать не буду.
Цветам распахну свое сердце,
ну хоть на минуточку.

Сперва обращаюсь к сирени,
к фиалке, потом к левкою,
Арахна-луна оденет
меня в шитье золотое.

Восславлю каштанов свечи,
как первосвященник, а дальше
соловухек увековечу:
— Рыдайте!

Не плачут, а ночью синею
в любовной гибнут агонии...
Cantat noctu luscinia —
прочел в лексиконе.

Словарь ведь не жизнь! В нем —
все проще...

Дочурка, позволь помечтаю,
мне чудится, будто мы в роще,
и ты все такая —

и локон твой светел, как лето,
и снова ты хочешь того же:
прожить до скончания света
и даже чуть дольше...

В сафических строфах нарочно
слегка плутовал, напутал,
хотел, чтоб рассказ свой докончил
Ицек Гуткинд,

пусть скажет, что думал он в гетто,
когда расстрелял все патроны...

А соловьи в это лето
заливались влюбленно...

А в сорок четвертом бесчувственно
свистали они во все горло...

Певец-соловей, не кощунствуй,
ведь гибнет город!..

Весна, Варшава, дочурка!

В мае приходит радость,
а мне — от призраков жутко...

Сжальтесь!

Я о роще писать стараюсь,
в ней неистовствовало контральто,
когда на траву страданий
пал Вальтер...

«Горные вершины» (у Гете),

«Над водным простором чистым»...

Другого придумай поэта,

май — артист мой.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНСКИЙ



ФАРЛАНДИЯ¹

Мы встретиться хотели на мосту,
все о любви сказать начистоту,
под кленом, у киоска с сигаретами.

Но, как предвидел, худшее сбылось,
и анархисты подорвали мост,
так что же: не встречаться из-за этого?

Везде так душно, жизнь везде тесна,
но, знаю, есть чудесная страна,
там пальмы, синь поет — страна Фарландия.

И не грусти, не лей напрасных слез
и не тревожься, что взорвали мост, —
в Фарландии произойдет свидание.

¹ Far land (*англ.*) — далекая страна.

* * *

Пальмы качаются,
пальмы качаются —
да-да-да.

Тут все бесчувственно,
не ворочусь сюда
никогда.

Пальмы — для птах приют,
влагу из пальмы пьют,
ми-ма-ми.

Сним, сбросив горести,
в снах снова кормимся
пальмами мы.

Пальмы качаются,
пальмы качаются —
все не засну...

Едем в Фарландию,
хрупкую, сладкую
нашу страну.

Б. А. АХМАДУЛИНА



МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ



В ГОРОДИШКЕ

Как гнездышко птицы залетной,
Присевшей у нашей реки,
Стоит городишко зеленый,
Мерцают его огоньки.
И все в нем так просто, толково,
И жизнь в нем чиста и легка,
И нету другого такого
На целой земле городка.

Всё рощи, равнины и нивы,
Извечный простор и покой,
И вербы старинные криво
Склонились над самой рекой.
И, словно бы из любопытства

(Она издалека видна!),
К воде подбежала напиться
Простая березка одна.

Весною здесь щебет и гогот,
Просторно, свежо и светло.
Так где же кончается город
И где переходит в село?
И всюду, у всех на примете,
Спокойствие и простота.
Вокруг воробьи, и дети,
И вечная нищета.

И было вчера, как сегодня,
Сияет костел поутру
И флюгер во славу господню
Подрагивает на ветру.
О, разве же этого мало!
Останется так навсегда —
У дома священника мальва
И свежая резеда.

Так было, так вечно пребудет,
Все словно застыло в миру...
Всегда обитателей будит
Песнь жаворонка поутру.
Соседей знакомые плечи,
Заборы, цветы у крыльца.

О, эти могучие плечи
И чистые эти сердца!

Коровы неспешно, послушно
Бредут на рассвете к реке.
И дудки лепечут пастушьи
На скромном своем языке.
И скажет вам каждая тетка,
И слова не бросит зазря:
У ксендза — пятнистая телка
И рыжая у звонаря.

А если в чужом огороде
Корова заденет забор —
Какое волнение в народе!
Суровый какой разговор!
А в ратуше шум и тревога,
Сердитые лица мещан:
Должно правосудие строго
Препятствовать этим вещам!

Соседи, чужие и наши,
Одна и другая семья,
Толкуют. А как же иначе!
Полна очевидцев скамья.
На улице жаркое лето,
Густая пылица вокруг.
Разделся один до жилета,
Другой раздевает сюртук.

Несутся собаки и дети,
Крик, гвалт, потасовка кругом...
Судья заседает в совете,
Пап писарь склонился с пером.
Зачем простодушному люду
Судейскому делу мешать?
Законы у нас, как повсюду,
Суд будет судить и решать!

Жизнь краткая, долгие споры,
Услышишь их за десять верст...
Но сердце от доброго взора
Немедля растает, как воск.
И мед золотистого цвета
В знак дружбы польется опять...
Таких городишек, как этот,
На целой земле не сыскать.



ЗАКАТ ВО ФЬЕЗОЛЕ

Солнце рубинами
Всех одаряет,
Гаснут огни
Зоревые.
На «Аве» колокола ударяют:
«...Здравствуй,
Дева Мария...»

Зори сияют ярко,
Тени в лучах разлилися..
В небе луна,
Как арфа
С темной струной кипариса.

Земля приготовила дар свой:
Она вся в цветах, в аромате.
И вторит сквозь радуги:
«Здравствуй,
Полная благодати...»
О, сердцу не вынести этой красоты.

Кануло солнце за реку.
На Кампаниле горят кресты.
Встают золотые зарева.
Храмы златоголовые
В последних лучах блестят.
Багрянец переходит в лиловое,
Букеты ирисов с холмов летят.

И хочется, хочется —
Не знаю чего.
И горы фиалками
Украшают чело.
Опускается ночь сиреневая —
О, куда она нас манила?

А в воздух летит серебряное:
«Здравствуй,
Дева Мария...»

И все так таинственно в этот миг,
Свежи и чисты все линии.
Серебрится дух.
Серебрится мир.
Пахнут флорентийские лилии.

ПРИМЕЧАНИЯ



И. И. ДМИТРИЕВ (1760—1837)

Иван Иванович Дмитриев — известный русский поэт-баснописец, был, по словам Вяземского, «поражен красотой сонетов» Мицкевича. Перевод «Плавания» относится ко времени пребывания Мицкевича в России. Эти годы ознаменовались существенными сдвигами в сближении двух родственных литератур, появлением ряда переводов, обменом информацией, усилением внимания критики к явлениям славянской поэзии. Первой книгой, выпущенной Мицкевичем в России, явились «Сонеты» (1826). Они, особенно цикл «Крымских сонетов», сразу же привлекли к себе внимание русских литераторов. В апреле 1827 года журнал «Московский телеграф» (Мицкевич был хорошо знаком с его издателем Н. А. Полевым и опубликовал в журнале несколько статей) напечатал полный прозаический перевод «Крымских сонетов», сделанный П. А. Вяземским и сопровождавшийся его же предисловием, где и приведен был дмитриевский перевод. Мицкевич писал в связи с этим в Варшаву еще до выхода номера: «Здесь в Москве их (т. е. «Крымские сонеты»). — *Б. С.*) перевел на русский известный князь Вяземский, и скоро они появятся в «Телеграфе» с весьма лестной для меня рецензией, затем выйдут из печати отдельной книжкой. Знаменитый поэт Дмитриев оказал мне честь и сам перевел один сонет».

И. И. КОЗЛОВ (1779—1840)

Поэт-романтик Иван Иванович Козлов, много переведивший из немецкой, английской, французской поэзии, с интересом отнесся к творчеству А. Мицкевича.

Знакомство поэтов произошло во время пребывания Мицкевича в Петербурге; он посвятил Козлову небольшую поэму «Фарис», опубликованную в 1829 году. В переписке Мицкевича есть упоминание о переводе Козловым «Крымских сонетов». «Ты просишь, — отвечал Мицкевич своему другу поэту А. Э. Одынцу, — чтобы я послал тебе русские переводы моих стихов. Пришлось бы отправить большой пакет. Почти во всех альманахах (альманахов здесь выходит множество) фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах. Один, говорят, лучший, Козлова (того, что написал «Венецианскую ночь»), печатается частями, скоро должен выйти книжкой». Действительно, такое издание появилось в 1829 году. А в 1828 году в альманахе «Северные цветы на 1829 год» был напечатан перевод Козлова сонета «Увы! Несчастлив тот, кто любит безнадежно...» («Резиньяция») под названием «Стансы. Вольное подражание Адаму Мицкевичу». О переводах Козлова упоминал в одной из рецензий В. Г. Белинский. Он признал их достоинства, один («Резиньяция») выписал как доказательство, что Козлов «мог усваивать русской литературе драгоценнейшие перлы иностранных литератур», но отметил их отдаленность от подлинника: «Одно уже то, что иногда 16-ю, 18-ю и 20-ю стихами переводит Козлов 14 стихов Мицкевича, показывает, что борьба была неравная». И. И. Козлов внимательно следил за всеми появлявшимися во второй половине 20-х годов произведениями

Мицкевича. По свидетельству А. Э. Одынца, Козлов так определил итог пребывания Мицкевича в России: «Взяли мы его у вас сильным, а возвращаем могучим».

Свидетельства глубокого уважения к таланту Мицкевича можно найти и в творчестве других русских поэтов, встречавшихся с Мицкевичем в России. Широко известны, например, стихотворения Е. А. Баратынского, посвященные Мицкевичу. Вот одно из них:

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик,
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досажен ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ (1792—1878)

Интерес к польской литературе и симпатии к полякам характерны для либеральной, отмеченной оппозиционными настроениями молодости Вяземского, начиная со времени его службы в Варшаве в первые годы после образования Царства Польского. Еще более они укрепились в результате дружеского общения с Мицкевичем, которого Вяземский относил к «малому числу избранных, коим предоставлено счастливое право быть представителями литературной славы своих народов». О прозаическом переводе Вяземского «Крымских сонетов» и посвященной им статье было сказано выше. Интерес к Мицкевичу Вяземский сохранил и в последующие годы, когда перешел на

откровенно консервативные позиции. Под конец жизни, в 1873 году, он опубликовал, например, статью об отношениях между Пушкиным и Мицкевичем.

Игнаций Красицкий (1735—1801) — крупнейший представитель литературы польского Просвещения, выступавший в жанрах сатиры, героико-комической поэмы, романа и т. д., много сделавший для развития литературного языка и стиля, к лучшим образцам которого относятся, в частности, его басни. Переводы басен Красицкого были опубликованы Вяземским в 1824—1826 годах в альманахах «Мнемозина» и «Урания». Включил он их и в полное собрание своих сочинений.

К. Ф. РЫЛЕЕВ (1795—1826)

Перу Кондратия Федоровича Рылеева принадлежат переводы из двух польских поэтов — Ю. У. Немцевича и А. Мицкевича.

Юлиан Урсын Немцевич (1758—1841) — виднейший польский писатель и деятель патриотического движения конца XVIII века (эпоха Просвещения) и первых десятилетий XIX века. Он выступил как горячий сторонник прогрессивных преобразований, участвовал в восстании Костюшко. После русского плена и эмиграции, возвратившись на родину, он пишет романы, повести, баллады и «думы», а также знаменитые «Исторические песни». Высокую оценку дал этим песням К. Ф. Рылеев. Он отмечал, что Немцевич, «как Тиртей, высокими песнями возбуждал в сердцах сограждан любовь к отечеству, усердие к общественному благу, ревность к чести народной и другие благородные чувства». На пример польского

поэта Рылеев ссылаясь в предисловии к своим «Думам» (1825). В черновом его варианте он писал: «Обязанность каждого писателя — быть для соотечественников полезным, и я, по возможности желая исполнить долг сей, предпринял, подобно польскому знаменитому стихотворцу Немцевичу, написать исторические Думы, стараясь напомнить в оных славнейшие или, по крайней мере, достопримечательнейшие деяния предков наших... Цель моя та же самая — то есть распространить между простым народом нашим, посредством дум сих, хотя некоторые познания о знаменитых деяниях предков, заставить его гордиться славным своим происхождением и еще более любить родину свою». Своего «Глинского» (впервые опубликован в 1822 году и включен в издание «Дум» 1825 года) Рылеев определял как «более неудачное подражание, нежели перевод прекрасной думы Юлиана Немцевича». Герой думы, *Михаил Глинский*, жил на Украине, прославился в войнах с татарами, выступил против литовского владычества, бежал в Москву, где стал одним из виднейших бояр; за сношения с Польшей попал в опалу и умер в заточении. В стихотворении он назван «дядей царицы», так как его племянница Елена стала женой Василия III и матерью Ивана Грозного. В тексте упомянуты также польские короли *Александр Ягеллончик* (1461—1506) и *Сигизмунд I Старый* (1467—1548).

В 1822—1823 годах Рылеев работал над переводом баллад *Мицкевича* «Лилии» и «Свитезянка», вольно переложил сонет «Воспоминание». Но переводы баллад завершены им не были. Когда Мицкевич прибыл в 1824 году в Петербург, сразу же произошло сближение его с Рылеевым, который вскоре сказал о

польском поэте и его ссыльных товарищах: «По чувствам и образу мыслей они уже друзья». Мицкевич посвятил памяти Рылеева прочувствованные строки в послании «Русским друзьям» (1832), которое в этой книге приводится в переводе П. Г. Антокольского.

А. С. ПУШКИН (1799—1837)

Первая встреча Пушкина и Мицкевича произошла осенью 1826 года, после возвращения русского поэта из Михайловского. А. И. Герцен впоследствии писал о ней: «Пушкин возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел больше своих друзей, — не смели даже произносить их имена; только и говорили, что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и утрачены. Он встретил на минуту Мицкевича, этого другого славянского поэта; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами бушевала гроза...» Знакомство поэтов перешло в исполненную взаимного уважения дружбу, которая запечатлена Мицкевичем в «Памятнике Петру Великому» (1832), Пушкиным — в стихотворении «Он между нами жил...» (1834). Свидетельством ее являются и взаимные переводы, «обмен» которыми приходится на конец 20-х годов: Мицкевич перевел пушкинское «Воспоминание», Пушкин — вступление к поэме «Конрад Валленрод»: «С т о л е т м и н у л о...». О популярности поэмы Мицкевича в России один из современников, К. А. Полевой, вспоминал так: «Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то есть знал ее содержание, изучал подробности и красоты ее. Это едва ли не единственный в своем роде пример! Но он объясняется общим вниманием петер-

бургской и московской публики к славному польскому поэту, и так как в Петербурге было много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали новую поэму Мицкевича в буквальном переводе. Так прочел ее и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод ее...»

Перевод баллад «Бурьсы и его сыновья» и «Воевода» (равно как и статью Мицкевича «Пушкин и литературное движение в России», 1837, его лекции о русском поэте в парижском Коллеж де Франс в 40-е годы и т. д.) следует рассматривать как свидетельство того, что взаимное уважение двух поэтов, несмотря на имевшиеся между ними разногласия (полемика Пушкина в «Медном всаднике» с «Отрывком III части Дзядов», заключительные строки пушкинского стихотворения о Мицкевиче и т. д.), выдержало трудное испытание событий польского восстания 1830—1831 годов. Пушкин опубликовал переводы двух баллад Мицкевича (обе они написаны в России) в «Библиотеке для чтения» в 1834 году, когда последовало запрещение печатать Мицкевича и упоминать его имя. Публикация первой сопровождалась подзаголовком: «Литовская баллада. Из М—а». Название было изменено: в оригинале «Три Будрыса».

В балладе «Воевода» Пушкин изменил размер и название (в оригинале — *Czaty*), то есть «дозор» или «засада») и дал подзаголовок: «Польская баллада из М—а».

В. Г. БЕНЕДИКТОВ (1807—1873)

В творческом наследии Владимира Григорьевича Бенедиктова значительное место занимают переводы из польских поэтов.

Станислав Трембецкий (1739—1812) — крупнейший представитель просветительской поэзии польского классицизма, обличавший в своих одах, посланиях, поэмах, признававшихся образцовыми с точки зрения языка и стиля, невежество и предрассудки духовенства, недостатки государственного устройства. «Воздушный шар», написанный по случаю состоявшегося в Варшаве (май 1789 г.) полета французского воздухоплователя Бланшара, приписывается, впрочем, некоторыми исследователями не Трембецкому, а другому поэту Просвещения — Адаму Нарушевичу.

Томаш Каэтан Венгерский (1755—1787) — один из виднейших поэтов польского Просвещения, автор вольнодумных сочинений, смелых сатир и памфлетов.

В. Г. Бенедиктов был одним из самых активных русских переводчиков Мицкевича. Им переведены были «Гражина», II и IV части «Дзядов», «Конрад Валленрод», «Пан Тадеуш», ряд баллад и лирических стихотворений, сонеты. Переводы эти вошли в изданные на русском языке собрания сочинений Мицкевича (1882—1883, 1902), выходили и отдельными изданиями.

К. К. ПАВЛОВА (1807—1893)

Интерес Каролины Карловны Павловой (урожденной Яниш) к польской литературе возник в ее молодые годы, когда она, дочь московского профессора, познакомилась с Адамом Мицкевичем, училась у него польскому языку, полюбила поэта, сохранив чувство к нему на всю жизнь. Свидетельство этому можно найти в двух лирических стихотворениях Каролины Павловой 1840—1841 годов и в письме к сыну

поэта, Владиславу, написанном под конец жизни. Впоследствии она переводила произведения Мицкевича на французский и немецкий языки.

Александр Ходзько (1804—1891) — поэт-романтик, со товарищ Мицкевича по Виленскому университету и Обществу филолетов. В Петербурге он изучал восточные языки, познакомился с Пушкиным и Жуковским, состоял на русской дипломатической службе, в 1842 году эмигрировал.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (1814—1841)

Перевод сонета А. Мицкевича «Вид гор из степей Козлова» был сделан Лермонтовым в 1838 году по подстрочному переводу, который поэту был дан сослуживцем, корнетом Н. Краснокутским. Впервые опубликован в книге «Вчера и сегодня» (СПб. 1846).

Козлов — русское название города и крепости Гёзлев, впоследствии — Евпатория.

А. А. ФЕТ (1820—1893)

Первые переводы из Мицкевича Фет сделал и опубликовал еще в 40-х — начале 50-х годов, в пору цензурного запрещения польского поэта. Перевод баллады «Дозор» был напечатан в «Отечественных записках» за 1846 год без указания имени автора, с подзаголовком «Украинская баллада». В 1854 году в «Современнике» увидел свет перевод «Свitezянки», тогда же — перевод «Свидания в лесу».

Баллада «Свитезянка» вошла в цикл «Баллад и романсов» из первого тома «Поэзии» Мицкевича (1822), положившего начало польскому романтизму. Слово «свитезянка» означает «русалка озера Свитезь», расположенного на родине поэта в окрестностях Новогрудка.

А. Н. МАЙКОВ (1821—1897)

В творчестве Аполлона Николаевича Майкова переводческая деятельность занимала весьма значительное место. Переводы из Мицкевича принадлежат к числу его лучших переводческих достижений.

Свои переводы из «Крымских сонетов» Майков впервые опубликовал в 1871 году. Они вошли в составленную Н. В. Гербелем антологию «Поэзия славян» (СПб. 1871).

А. А. ГРИГОРЬЕВ (1822—1864)

Интерес Аполлона Александровича Григорьева к поэзии А. Мицкевича не случаен. В письме к Н. Н. Страхову 12 декабря 1861 года А. А. Григорьев писал: «Вот я теперь с любовью перевожу (Байрона. — Б. С.) одного из трех последних настоящих поэтов, т. е. с Мицкевичем и Пушкиным купно». Оценка поэзии А. Мицкевича дана А. Григорьевым не только в письмах (А. Н. Майкову, А. С. Хомякову), но и в статьях. И неизменно Мицкевич и Пушкин стоят у Григорьева рядом, как две поэтические вершины.

Публикуемый здесь вольный перевод стихотворения А. Мицкевича «Сомнение» сделан в 1853 году и вошел в поэтический цикл А. Григорьева «Борьба».

Л. А. МЕЙ (1822—1862)

Лев Александрович Мей один из самых плодотворных поэтов-переводчиков XIX века. Он переводил многих польских поэтов.

В 1857 году (сразу после того, как запрет на сочинения Мицкевича был снят) Л. А. Мей выступил с инициативой издания собрания сочинений великого поэта в русских переводах и в связи с этим обратился с докладной запиской в министерство народного просвещения, в которой писал: «Польская песня спокон веку была сродни русской и легко перепевается. Пушкин, Козлов, Лермонтов и их покойные собратья шли плечо в плечо с Мицкевичем...» Предложение Мея, однако, не было принято.

Перевод стихотворения «Моя баловница...» был напечатан в 1849 году в журнале «Москвитянин», еще без указания имени Мицкевича. Это стихотворение имело необыкновенно богатый отзвук в русской музыкальной культуре. К нему обращались (пользуясь разными переводами, в том числе переводом Мея) Алябьев, Глинка, Чайковский, Направник, Кюи, Римский-Корсаков и др. (всего около двадцати композиторов).

Юзеф Богдан Залеский (1802—1886) — польский поэт-романтик, причисляемый к так называемой «украинской школе». Природа и фольклор Украины, прошлое казачества (изображенное, впрочем, преимущественно в идиллических красках) определяли тематику его лучших произведений, созданных в 20—40-е годы.

Зигмунт Красинский (1812—1859) — выдающийся польский поэт-романтик. Лирика занимает, однако, подчиненное место в его творчестве. Более всего он

известен драмами «Небожественная комедия» и «Иридион», в которых отразились, с одной стороны, консерватизм Красинского, его неприязнь к революционному движению, а с другой — умение подмечать назревавшие в обществе социальные конфликты.

Владислав Сырокомля — псевдоним Людвика Кондратовича (1823—1862), выдающегося польского поэта-демократа. В поэзии Сырокомли нашли свое выражение глубокое сочувствие угнетенному крестьянству, искренние симпатии к белорусскому народу.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ (1825—1893)

Алексей Николаевич Плещеев, поэт-петрашевец, много переводил с немецкого, английского, французского и других языков.

В 1854—1855 годах он писал: «Научился языку польскому, на котором тоже есть вещи бикьякши (Мицкевич, например)».

Среди участников революционного кружка Петрашевского интерес к польской литературе проявлял не только Плещеев. С. Ф. Дуров, например, в 40-е годы сделал несколько переводов из Мицкевича. В следственном деле Н. А. Момбелли имеется его перевод послания польского поэта «Русским друзьям». В перечне документов из утраченного дела М. В. Петрашевского упоминаются выписки из сочинений А. Мицкевича.

М. Л. МИХАЙЛОВ (1829—1865)

Поэт-революционер Михаил Ларионович Михайлов в петербургский период своей деятельности, а затем в сибирской ссылке был дружески связан с многими

деятели польского освободительного движения, что способствовало и его интересу к польской литературе. Перевод стихотворения «К польке-матери» был им создан на каторге (Кадаинский рудник), где одновременно с ним находились многие участники восстания 1863 года (сочувствие которому Михайлов выразил и в ряде оригинальных стихотворений). Еще ранее этим стихотворением Мицкевича заинтересовался А. И. Герцен, который переписал его текст в свой дневник 1843 года, сопроводив замечанием: «Сколько бедствий лежит позади этой колыбельной песни!»

Солдат под знаменем трехцветным... — то есть солдат французской революции 1789 года. Но любопытно, что окончательный текст оригинала звучит иначе: «Нового мира солдаты» (имеется в виду американская революция). Образ «трехцветной кокарды» встречается в автографе и списках. Товарищи по сибирской каторге, ссыльные поляки, познакомили, по видимому, Михайлова именно с таким вариантом стихотворения.

Л. Н. ТРЕФОЛЕВ (1839—1905)

Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев хорошо знал и любил польскую поэзию, переводил произведения ряда польских поэтов.

Творчество Юлиуша Словацкого (1809—1849), величайшего, наряду с Мицкевичем, поэта польского романтизма, русскому читателю стало известно сравнительно поздно. Основную роль здесь сыграл строгий цензурный запрет на произведения поэта-революционера, творившего в эмиграции. Трефолев обратился к Словацкому одним из первых в русской поэзии.

Антоний Эдвард Одынец (1804—1885) — поэт-романтик, приятель Мицкевича с виленских времен, совершивший с ним заграничное путешествие в 1829 году (описано им в воспоминаниях). Одынец был далек, однако, от революционного движения и от центральной проблематики польского романтизма, не затрагивал в своих произведениях значительных общественных вопросов.

Творчество Сырокомли своим народолюбивым содержанием, доступностью и простотой формы, задушевными интонациями более всего привлекло внимание поэта-демократа Трефолева. Именно его он охотнее всего переводил из польских поэтов. Некоторые переводы Трефолева, например, «Я м щ и к», стали русскими народными песнями. Трефолев, создавая свои переводы, как правило, подчеркивал и усиливал социальные мотивы творчества Сырокомли, зачастую стремился перенести образы и ситуации его стихотворений на русскую почву, сделать их более понятными нашему читателю путем замены польских реалий русскими.

Мария Конопницкая (1842—1910) — крупнейшая польская поэтесса периода критического реализма в литературе. Стихотворения Конопницкой (как и ее новеллы) в России получили известность еще при жизни писательницы и с тех пор неоднократно издавались на русском и других языках народов Советского Союза.

В. Г. КОРОЛЕНКО (1853—1921)

Об интересе Владимира Галактионовича Короленко к польской культуре подробно говорят его биографы и он сам в «Истории моего современника».

Перевод из Мицкевича, сделанный Короленко, долгое время оставался неизвестным и впервые был опубликован в 1955 году. Стихотворение «Над водным простором...» принадлежит к числу лирических шедевров Мицкевича, созданных в конце его творческого пути в Лозанне.

С. Я. НАДСОН (1862—1887)

Данный отрывок взят С. Я. Надсоном из поэмы Ю. Словацкого «Отец зачумленных», где описана трагедия араба, вся семья которого погибла от чумы. Поэма была создана Словацким во время его путешествия на Ближний Восток в 1836—1838 годах.

А. П. КОЛТОНОВСКИЙ (1862—1934)

Андрей Павлович Колтоновский принадлежал к числу русских литераторов, сыгравших на рубеже XIX—XX веков полезную роль в популяризации польской поэзии в России. В 1899 году он сделал несколько переводов из Мицкевича (в том числе «Оды к молодости»), которые опубликовал в журнале «Мир божий», а затем в своем сборнике «Стихотворения» (1901). В этот же сборник вошел и ряд его переводов из Конопницкой (ранее печатавшихся в журналах).

Самый удачный из этих переводов, публикуемый в данной книге, впервые увидел свет в 1894 году в «Вестнике Европы». С тех пор он получил в России необычайно широкую популярность. Советский писатель Н. Н. Ляшко в своем автобиографическом романе «Сладкая каторга» (1934—1936) говорит, напри-

мер, о том, что в годы первой мировой войны стихотворение Конопницкой в переводе Колтоновского распространялось среди рабочих как революционная песня.

К. Д. БАЛЬМОНТ (1867—1942)

Константин Дмитриевич Бальмонт в конце XIX — начале XX века много сделал как популяризатор польской поэзии в России. Особенно значителен его вклад в ознакомление нашего читателя с творчеством Ю. Словацкого, из которого он переводил не только лирику, но и крупные произведения (драма «Балладина» и др.). Такое внимание к Словацкому, несомненно, было связано с интересом Бальмонта к современной ему польской поэзии и критике, исключительно высоко ценившим творчество великого романтика и ссылавшимся на его пример при обосновании своей литературной программы.

«З а б ы т ы й х р а м» — под таким названием Бальмонт опубликовал свой перевод сонета Мицкевича «Резиньяция» в 1899 году в «Журнале для всех».

И. А. БУНИН (1870—1953)

Иван Алексеевич Бунин писал в своей автобиографии, вспоминая о 90-х годах: «К этому времени относится мое увлечение... некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами из «Пана Тадеуша»: ради Мицкевича я даже учился по-польски». Самый ранний перевод Бунина — «Новый год» А. Мицкевича.

Адам Аснык (1838—1897), наряду с Конопницкой, крупнейший польский поэт последней трети прош-

лого века, продолжавший традиции эпохи национальных восстаний (в восстании 1863 г. он сам участвовал, будучи деятелем революционной партии «красных»). Буниным выбраны для перевода не самые популярные стихотворения Асныка. Исключением является широко известное стихотворение «Л и л и и» (в оригинале другое название: «Panienceszka»).

В. Я. БРЮСОВ (1873—1924)

Интерес Валерия Яковлевича Брюсова к творчеству Мицкевича, связан преимущественно с его пушкиноведческими занятиями (проблема «Медного всадника» и т. д.). Данный перевод также результат работ Брюсова над биографией Каролины Павловой, которой Мицкевич посвятил это стихотворение накануне отъезда из России. Перевод напечатан впервые в журнале «Ежемесячные сочинения» (1903, № 11—12) в статье В. Брюсова «Каролина Павлова».

Перевод «Гимна», одного из самых популярных лирических стихотворений Словацкого, был сделан Брюсовым в годы первой мировой войны, когда он находился в Варшаве как корреспондент «Русского слова». В блокноте поэта перевод датирован 1914 — январем 1915 года (по ст. и нов. ст.). Долгое время он был неизвестен, в 1965 году его опубликовал С. И. Балза.

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ (1874—1959)

Русский текст знаменитых революционных песен «Красное знамя» и «Варшавянка» был создан Г. М. Кржижановским в 1897 году в Бутырской

тюрьме после его ареста по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Перевод «Красного знамени», как он сам отмечал, «весьма близок к подлиннику», «Варшавянку» же, по признанию Кржижановского, «пришлось основательно переделать». Обе эти песни знал и любил В. И. Ленин.

Вацлав Свенцицкий (1848—1900) организатор первых социалистических кружков в Царстве Польском, публиковал свои революционные стихи и песни в нелегальной печати. «Варшавянка» увидела свет в 1883 году в первом номере польской газеты «Пролетариат», издававшейся первой польской революционной партией, носившей то же название.

Болеслав Червенский (1851—1888) — один из зачинателей рабочего движения в Галиции (сотрудничал с Людвиком Варынским и Иваном Франко), журналист и поэт. «Красное знамя» было им написано в 1881 году.

С. М. ГОРОДЕЦКИЙ (1884—1967)

Сергей Митрофанович Городецкий польской поэзией заинтересовался еще в предреволюционные годы. Выбор произведений для перевода связан, по-видимому, с собственными творческими поисками Городецкого (интерес к мотивам древнеславянской мифологии, к «миру горюющему», к фольклору и т. д.).

Ян Каспрович (1860—1926) — крупнейший представитель поэзии «Молодой Польши», начал печататься с конца 70-х годов. Первые его стихи были отражением жизненного опыта поэта, крестьянского сына, с

трудом получившего образование, прекрасно знавшего тяжесть мужицкой жизни, а также выражением его демократических убеждений, интереса к социалистическим идеям. К числу этих стихов принадлежит и цикл сонетов «Из хаты» (вошел в сборник «Поэзия», 1889), из которого и взяты данные стихотворения. Переводы Городецкого из Каспровича опубликованы были в сборнике «Велес» (1912—1913).

Болеслав Лесьмян (1877—1937) — один из виднейших польских поэтов XX века, начал писать еще в пору расцвета символизма (тогда он писал и по-русски и напечатал ряд стихов в русских символистских журналах). В дальнейших поисках оригинального поэтического стиля Лесьмян прибегал и к использованию сказочно-фантастической образности (в том числе связанной с фольклором). Баллада «Свидрига и Мидрига» была переведена С. М. Городецким в 1935 году для специального номера «Литературной газеты», посвященного польской литературе.

С. Я. МАРШАК (1887—1964)

В переводческой деятельности Самуила Яковлевича Маршак переводы с польского занимали сравнительно скромное место. Но интерес к польской поэзии он проявлял с самых ранних лет. В воспоминаниях о Горьком («Три встречи») среди своих первых стихотворных опытов Маршак называет перевод стихотворения Мицкевича «Памятник Петру Великому», который он читал Горькому. Можно отметить также, что Маршаком переведено в 1949 году стихотворение чешского поэта Сватоплука Чеха «Пушкин и Мицкевич».

Стефан Витвицкий (1802—1847) — польский поэт-романтик, писал баллады и поэмы (большей частью подражательные), а также религиозные стихи. Сохранили известность до настоящего времени стихотворения и песни Витвицкого, отмеченные влиянием фольклора. На текст «Гулянки» написал музыку Ф. Шопен.

Поэзия Юлиана **Тувима** (1894—1953) получила в СССР известность еще до второй мировой войны. В. В. Маяковский встречался с Тувимом во время своих поездок в Варшаву и упоминал о нем в своих очерках «Ездил я так» и «Поверх Варшавы». «Тувим, — писал Маяковский, — очень способный, беспокоящийся, волнующийся, что его не так поймут, писавший, может быть и сейчас желающий писать, настоящие вещи борьбы, но, очевидно, здорово прибранный к рукам польским официальным вкусом». И в другом месте: «Тувиму надо и некоторой бури, и некоторого оживления, как у футуристов, как у лефов». После образования народной Польши произведения Тувима издавались в нашей стране многократно и на многих языках. Высоко оценена была в Польше и в СССР переводческая деятельность Тувима, неутомимого популяризатора русской поэзии, переведившего произведения Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Некрасова, Маяковского и других русских поэтов.

Стихотворение «Знамя» написано Тувимом в последний, послевоенный период его творчества, после возвращения поэта из эмиграции на родину. Перевод С. Маршак был опубликован в 1950 году в «Литературной газете».

Ян из Чернолесья — Ян Кохановский (1530—1584) — величайший поэт польского Возрождения. Далее цитируется строка из его «Песен».

Н. Н. АСЕЕВ (1889—1963)

Николай Николаевич Асеев много переводил с польского. Самой значительной его работой является перевод поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод», отрывок из которого приводится в данном сборнике.

«Песня филаретов» написана в 1820 году как застольный гимн товарищей поэта по молодежной конспиративной организации «Общество филаретов» (за участие в тайных кружках поэт был выслан в 1824 г. в Россию). Автор песни поочередно обращается к членам разных кружков, в соответствии с науками, ими изучаемыми.

Стихотворение Тувима «*Ab urbe condita*» было напечатано 16 января 1949 года в журнале «Одродzene» в канун четвертой годовщины освобождения Варшавы.

Владислав Броневский (1897—1962) — крупнейший польский революционный поэт, неразрывно связавший свое творчество с борьбой рабочего класса и его партии, проникновенный лирик и пламенный трибун, стал в СССР широко известен еще в 20—30-е годы, когда в нашей стране появились первые русские издания его произведений. В. В. Маяковский называл его в числе самых близких Советскому Союзу деятелей польской литературы.

«Интереснейшие здесь, — писал о польских литераторах Маяковский, — поэт Броневский, только что выпустивший новую книгу стихов «Над городом»...» На первый план в своей оценке Броневского Маяковский ставил революционное содержание его произведений: «Названия его стихов — говорят за себя: «На смерть революционера», «Пионерам», «Кабала» и т. д.».

Исключительно высоко ценил творчество Маяковского Броневский, считавший советского поэта одним из своих учителей. «Маяковский, — писал Броневский, — это поэт нового мира, мира, который создает и которым правит человек, и каждый, кто хочет быть и является строителем этого мира, почувствует, поймет и будет считать идеологию поэта своей».

А. А. АХМАТОВА (1889—1966)

Переводы с польского Анны Андреевны Ахматовой появились в основном в 50—60-е годы. Они получили высокую оценку и в Польше, где Ахматову хорошо знают и много переводят.

Мария Павликовская-Ясножневская (1894—1945) — виднейшая поэтесса межвоенных лет, близкая по своим творческим стремлениям к группе «Скамандр» (Ю. Тувим и др.), мастер лирической миниатюры. Еще в 20-е годы творчество польской поэтессы часто сравнивали с творчеством А. Ахматовой.

«И в а у д о р о г и» — это стихотворение написано во время войны, когда поэтесса находилась в эмиграции в Англии.

Вислава Шимборская (род. 1923) — современная польская поэтесса, автор ряда лирических сборников, снискавших широкое читательское признание.

Б. Л. ПАСТЕРНАК (1890—1960)

Переводческое наследие Бориса Леонидовича Пастернака необыкновенно велико и многообразно. Переводами с польского он занимался начиная с 40-х годов.

«Песнь литовского легиона» была написана Словацким в 1831 году, в период национального восстания.

Стихотворение «Кулиг» было опубликовано в 1831 году, в Варшаве, и принадлежит к лучшим образцам повстанческой лирики Ю. Словацкого. *Кулиг* (кулик) — масленичная старопольская забава, санный поезд, который едет по окрестным усадьбам, увлекая за собой их хозяев. Здесь это образ, символизирующий рост повстанческих рядов, расширение восстания.

Карл Десятый — французский король, свергнутый в июле 1830 года. Далее в подлиннике назван алжирский дей (а не тунисский бей), в том же году лишенный трона французами.

Баллада паж из «Марии Стюарт» — это переделка старинной шотландской баллады из сборника Т. Перси (1765). Дрaму «Мария Стюарт» Словацкий написал в 1830 году и опубликовал в парижской эмиграции (1832). На ней отразилось увлечение поэта Шекспиром. Сюжетная основа драмы (героиня которой трактуется совсем иначе, чем в трагедии Шиллера) взята автором из сочинений Вальтера Скотта.

«Мария Стюарт» была переведена Б. Л. Пастернаком для двухтомного издания сочинений Словацкого в русских переводах, подготовленного в связи со 150-летием со дня рождения польского поэта (1959).

Стихотворение «Я и стихи» написано в годы войны, когда Броневский находился на Ближнем Востоке, где им были созданы два сборника: «Примкнуть штыки» (1943) и «Древо отчаяния» (1945).

М. А. ЗЕНКЕВИЧ (род. 1891)

В творчестве Михаила Александровича Зенкевича переводы из польской поэзии занимают видное место. Им переводились произведения классиков (стихотворения Мицкевича, поэмы Словацкого «Змей», «Ян Белецкий» и т. д.) и современников (поэма В. Броневского «Повесть о жизни и смерти Кароля Вальтера Сверчевского», стихи Ю. Тувима, Я. Ивашкевича и др.).

«Дума о Вацлаве Ржевуском» — Вацлав Ржевуский (1765—1831) — поэт и путешественник, в 1817—1820 годах странствовал по Ближнему Востоку, некоторое время провел среди кочевых арабских племен. По возвращении на родину прославился эксцентричным образом жизни, устроившись в своем поместье на бедуинский лад, в литературе упоминался как «эмир Тадж-уль-Фехр» (Мицкевич в его честь написал своего «Фариса»). Он принял участие в восстании 1830—1831 годов и погиб при невыясненных обстоятельствах.

Рать Кантемира... — Видимо, имеется в виду молдавский господарь Дмитрий Кантемир (1674—1723), который был, однако, союзником России. *Дашев.* — Здесь в мае 1831 года произошла битва между повстанческим отрядом и царскими войсками. *Начальник орудий* — капитан артиллерии Орляковский, участник этой битвы.

Витольд Вандурский (1891—1938) — один из зачинателей польской революционно-пролетарской поэзии межвоенного двадцатилетия, соратник Броневского, автор драматических произведений, организатор рабочих театров.

Мечислав Яструн (род. 1903) — современный польский поэт старшего поколения, дебютировал в конце

20-х годов, после войны опубликовал ряд стихотворных сборников, эссе, биографических книг: о Мицкевиче (переведена на русский язык), Кохановском, Словацком.

Станислав Ришард **Добровольский** (род. 1907) — польский революционный поэт, в межвоенные годы входил в группу левых литераторов «Квадрига», после войны опубликовал ряд произведений, посвященных традициям революционной борьбы, героической Варшаве, был удостоен Государственной премии.

Саксонский сад — парк в центре Варшавы.

М. И. ЦВЕТАЕВА (1892—1941)

Переводы из польской поэзии были выполнены Мариной Ивановной Цветаевой после ее возвращения из эмиграции в 1939 году. Они были впервые напечатаны в журнале «Дружба народов» (1941, № 8).

Юлиан **Пшибось** (род. 1901) — современный польский поэт. Дебютировал в 20-е годы как ведущий представитель так называемого «Авангарда», группы, выступавшей за разрыв с традиционными поэтическими образцами, за поэзию новой формы, насыщенную необычными и сложными образами и ассоциациями. Придерживался левых убеждений, что отразилось и в его творчестве. После войны, кроме новых стихов, выступал со статьями и эссе о классической и современной поэзии. Лауреат Государственной премии.

Люциан **Шенвальд** (1909—1944) — революционный польский поэт, входил в группу левых литераторов «Квадрига». Во время войны находился в СССР,

вступил в дивизию имени Т. Костюшко, погиб на фронте. Поэма «Сцена у ручья» опубликована им в 1936 году.

Э. Г. БАГРИЦКИЙ (1895—1934)

Данный перевод является, по-видимому, единственным переводом из польской поэзии Эдуарда Георгиевича Багрицкого.

Адам **Козярский** — псевдоним Богдана Жираника (род. 1892), участника одной из подпольных патриотических организаций в Польше. Он был арестован царскими властями в 1915 году, освобожден после Февральской революции и до возвращения на родину (1919) сотрудничал с польскими интернационалистами в России. В последующие годы он занимался научной работой и переводами. Свою песню Жираник написал для революционного Белгородского полка, состоявшего в большинстве своем из солдат-поляков и в марте 1918 года переименованного в Красный полк революционной Варшавы. Перевод Багрицкого сделан в 1931 году.

Н. С. ТИХОНОВ (род. 1896)

Николай Семенович Тихонов, активный деятель движения сторонников мира, с большим вниманием относится к жизни и культуре народной Польши. В 1950—1951 годах он посвятил стихи Варшаве:

Варшава

Зимой, после войны впервые,
В пятидесятом, —
Варшава, ночь, огни скупые,
Снег полосатый.

Сначала шел, поймите сами,
Меня простите —
Я шел с закрытыми глазами,
Боясь раскрыть их.

Боясь увидеть под луною
Лишь тень Варшавы,
Узоры, бывшие стеною,
Да щебень ржавый.

Решил в глаза взглянуть я смело
Руин шершавых —
Кругом росла, трудилась, пела,
Жила Варшава!

Сегодня можем мы смеяться,
Кого обидим?
Сегодня можем удивляться
Тому, что видим!

Где всем народом создан город
Во имя жизни,
А рядом черные, как порох,
Руины виснут,

Где груды мертвого железа,
След канонира, —
Вот тут и место быть конгрессу
Во имя мира!

В эти же годы им были сделаны переводы из М. Яструна и С. Е. Лёца.

«Песнь Ярославны». — Обращение к русской поэтической традиции в творчестве Яструна не является случайным. Он в течение многих лет выступал с переводами из русских поэтов.

П. Г. АНТОКОЛЬСКИЙ (род. 1896)

Павел Григорьевич Антокольский кроме переводов, публикуемых здесь, создал также широко известный перевод «Оды к молодости» Мицкевича, пере-

водил и поэтов XX века (Ю. Тувим, В. Броневский, Л. Шенвальд и др.).

Стихотворение «Памятник Петру Великому» вошло в стихотворный цикл — «Отрывок III части Дядюв» (1832). Запечатлев дружеские отношения между Пушкиным и Мицкевичем, оно явилось одной из самых ярких страниц польско-русского литературного сближения в XIX веке и выразило симпатии Мицкевича к лучшим людям России, веру в ее грядущее освобождение от царской тирании. Оно было известно Пушкину, упомянувшему о нем в одном из примечаний к «Медному всаднику».

Интересно, что содержание «Памятника» легло в основу одного из стихотворений Антокольского, обращенного к польским коллегам по перу и написанного сразу после войны. В нем были такие строки:

Я польскому интеллигенту
Напомню быль, а не легенду.
Она не так уже стара:
Как под одним плащом два брата,
Два гения, два демократа
Сошлись для вечного возврата
У медной статуи Петра.
Век начинался. Марсельеза
Смолкала в музыке железа.
Был многим век обременен.
А эти юноши постигли,
Что плавится в железном тигле
Свобода будущих времен.

Стихотворение «Друзьям русским», заключающее третью часть «Дядюв», вызвало с момента своего опубликования интерес передового русского читателя. Оно сразу же стало известно Пушкину. Выше упоминалось о знакомстве с ним петрашевцев (перевод Момбелли). В 1855 году Н. А. Добролюбов

перевел «Русским друзьям» для рукописной газеты «Слухи». Н. П. Огарев напечатал их (в прозаическом переводе) в лондонском издании «Дум» Рылеева (1860) и в сборнике 1861 года «Русская потаенная литература» (анонимный стихотворный перевод). В 1906 году появились сразу четыре перевода «Русским друзьям». Один из них открыл вместе с пушкинским «Посланием в Сибирь», «Собрание стихотворений декабристов». В советское время неоднократно публиковался перевод А. К. Виноградова. П. Г. Антокольский напечатал свой перевод в 1941 году в журнале «Новый мир» вместе с переводами «Памятника Петру Великому» и «Олешкевича».

И. Л. СЕЛЬВИНСКИЙ (1899—1968)

Переводы с польского Ильи Львовича Сельвинского относятся в основном к 40—60-м годам.

«Огненный ангел, слева стоящий...» — Стихотворение написано в 40-е годы, в период увлечения Словацкого мистицизмом. «Левый ангел» в стихах этого периода олицетворяет обычно земное начало, противоположное высоким духовным стремлениям. *Былая любовь...* — Речь идет о Людвике Снядецкой, дочери виленского профессора, в которую в юности Словацкий был влюблен.

А. А. СУРКОВ (род. 1899)

Алексей Александрович Сурков, много сделавший для развития контактов между советскими и польскими писателями, проявил интерес к революционной польской поэзии еще в довоенные годы. При его участии был издан, например, на русском языке сборник

одного из зачинателей революционно-пролетарской поэзии в межвоенной Польше Станислава Ришарда Станде («Стихи», Москва, 1935).

М. В. ИСАКОВСКИЙ (род. 1900)

Михаил Васильевич Исаковский, опубликовавший хорошо известные переводы произведений народного творчества (украинские, белорусские песни, народные венгерские песни и баллады, сербский эпос), и из польской поэзии выбрал для перевода народную песню.

В. А. ЛУГОВСКОЙ (1901—1957)

Владимир Александрович Луговской переводил произведения многих польских поэтов, в том числе польскую классику (стихотворения Мицкевича, лирика Словацкого и его драма «Лилла Венеда»).

Леопольд Стаффа (1878—1957) — крупнейший польский поэт XX века, прошедший творческий путь от периода модернизма «Молодой Польши» до времен народной Польши. Наличие в поэзии Стаффа крепкой жизненной основы, ее «вещность», отзывчивость к красоте природы, радости созидания и светлого чувства, стремление к высокой простоте (особенно осязаемое в последних сборниках) — все это определило популярность Стаффа у многих поколений читателей и его влияние на младших современников (в частности, на поэтов «Скамандра» — Ю. Тувим, Я. Ивашкевич и др.).

Ярослав Ивашкевич (род. 1894) — выдающийся современный поэт и прозаик, лауреат Государственной премии, председатель Союза польских литераторов. В межвоенный период входил в группу «Ска-

мандр». В СССР изданы на русском языке не только его стихи, но и многие рассказы, драмы, большой роман «Слава и хвала».

Юзеф Хелмонский (1849—1914) — крупнейший польский художник-реалист.

Ян Бжехва (1900—1966) — польский поэт, автор лирических и сатирических произведений, широко популярных стихов для детей. Переводил с русского языка стихи и прозу (Пушкин, Чехов, советские писатели). На русский язык, помимо стихов, переведены его автобиографическая книга «Пора созревания» и юмористическая повесть «Академия пана Кляксы».

М. С. ГОЛОДНЫЙ (1903—1949)

Михаил Семенович Голодный переводил польских поэтов XIX и XX веков. Известны его переводы баллад Мицкевича «Пани Твардовская», «Ренегат», «Тукай», «Бегство».

М. А. СВЕТЛОВ (1903—1964)

В переводческой деятельности Михаила Аркадьевича Светлова видное место заняли переводы с польского. Среди них имеются также переводы классических поэтов (басни Мицкевича и т. д.).

Юлиан Тувим, прекрасный знаток русской поэзии, знал и ценил поэтическое творчество М. А. Светлова. В межвоенные годы им был сделан великолепный перевод светловской «Гренады», сыгравший заметную роль в ознакомлении польского читателя с советской поэзией.

Лирический цикл «Свиток осени» был опубликован *Ивашкевичем* в 1954 году и тогда же отмечен Государственной премией.

Е. А. БЛАГИНИНА (род. 1903)

Еленой Александровной Благиной переведены произведения многих польских поэтов: А. Мицкевича, В. Поля, С. Витвицкого, Т. Ленартовича, М. Конопницкой, Я. Каспровича, Л. Стаффа, К. Иллакович, детские стихи Ю. Тувима.

Теофиль Ленартович (1822—1893) — польский поэт. Наиболее популярные свои стихи посвящал природе Мазовии и жизни деревни, используя многие элементы фольклорной поэтики.

Казимира Иллакович (род. 1892) — польская поэтесса, особенно активно выступавшая в межвоенные годы. Автор лирических стихов и стихов для детей.

Л. Н. МАРТЫНОВ (род. 1905)

Леонид Николаевич Мартынов исключительно много сделал для ознакомления русского читателя с польской поэзией. Им переведен ряд классических произведений польской поэзии, в том числе II и IV части «Дзядов» Мицкевича, «Час раздумий», «В Швейцарии», «Кордиан», «Фантазий» Словацкого, стихи Ц. Норвида, М. Конопницкой и много произведений современников.

У Л. Мартынова есть стихотворение о том, почему ему близка и понятна польская поэзия:

* * *

Знаешь,
Почему мне удаются
Переводы с польского — Словацкий,
Лирика его и драмы?

...Это было до революции.
Вспоминаю город азиатский;
Этот северо-восточный ветер,
Проникавший сквозь двойные рамы
В бани, в храмы, в церкви и мечети,
И в костел, в малюсенький костелик,
Созывавший дребезжащим зовом
Этих полек...
Помню этих полек —
Экономку в домике ксендзовом
И других заядлых католичек,
Губы сжаты, а глаза стеклянны,
И немало помню детских личик.

Я, конечно, был еще ребенок
И не задавал себе вопросы,
Почему над кровлями избенок
Этот шпиль готический вознесся;
Не гадал я, по какой причине,
Преисполнены печали,
Жалкие обрывочки латыни
Изнутри костелика звучали;
Я не знал ни о каких восстаньях
И ни о каких не ведал судьях, —
Знал я о Викторих и Франях
И отцах их, мирных добрых людях,
И не ощущал, что это — внуки
Каторжных и ссыльнопоселенцев.

А Словацкий мне попался в руки
Много позже. Он не для младенцев.

«Песни» Кохановского, где с наибольшей силой проявилось лирическое начало его творчества, миро-восприятие и житейский идеал, создавались главным образом в последний период жизни поэта, прошедший в сельском уединении Чернолесья, изданы же были после смерти автора (1586).

«Девке». — Это один из образцов весьма популярного в польской поэзии, утвердившегося еще во времена Возрождения (в первую очередь благодаря Кохановскому) жанра «фрашки», короткого эпиграмматического стихотворения, чаще всего шуточного содержания. Свои «Фрашки» Кохановский написал преимущественно в период службы при дворе, а издал под конец жизни (1584).

Юзеф Чехович (1903—1939) — один из наиболее оригинальных и талантливых польских поэтов межвоенного «двадцатилетия», погибший в начале войны при бомбардировке Люблина.

Константы Ильдефонс Галчинский (1905—1953) — один из самых популярных и любимых читателем польских поэтов XX века, проникновенный и тонкий лирик, привлекающий богатством фантазии, умением поэтизировать повседневное, а также автор оригинальных сатирическо-гротескных произведений.

С. И. КИРСАНОВ (род. 1906)

Среди сделанных Семеном Исааковичем Кирсановым переводов польской классической поэзии можно назвать ряд переводов из Мицкевича, перевод «Мазурки Домбровского» Ю. Выбицкого, ставшей польским гимном, переводы из Ю. Словацкого, М. Гославского, Э. Василевского, В. Анчица и других.

Мечислав Романовский (1834—1863) — автор патристических стихотворений и поэм, участник восстания 1863 года, павший на поле битвы. Стихотворение «Польские стяги в Кремле» является выражением отношения польских революционеров к идее польско-русского единства в борьбе против деспотизма. Речь в нем идет о польских повстанческих знаменах

1831 года, захваченных при подавлении восстания царскими войсками. На знаменах повстанцев был начертан лозунг «За вашу и нашу свободу».

О стихотворении «Поклон Октябрьской революции» Броневского С. И. Кирсанов писал в журнале «Иностранная литература» в 1962 году: «Это одно из самых глубоких стихотворений Броневского и вообще одно из самых сильных — о нашей революции, написанных за рубежом. Скупое, лаконичное оно выражает сложное и многостороннее содержание».

Станислав Ришард Станде (1897—1939) — поэт и деятель революционного движения, член Коммунистической партии Польши, чья борьба, героическая и суровая, стала главной темой его стихов. Вместе с В. Броневским и В. Вандурским в 1925 году выпустил «поэтический манифест» «Три залпа», ставший манифестом революционно-пролетарской литературы. Свою литературную деятельность продолжал, эмигрировав в СССР, где жизнь его трагически оборвалась.

Д. Б. КЕДРИН (1907—1945)

Данный перевод был опубликован уже после смерти Дмитрия Борисовича Кедрина в его сборнике «Избранное» (1947).

М. С. ПЕТРОВЫХ (род. 1908)

В круге переводческих интересов Марии Сергеевны Петровых польская поэзия занимает видное место. Ею переводились главным образом произведения поэтов XX века (Б. Лесьмян, Ю. Тувим, В. Броневский и др.).

С. В. МИХАЛКОВ (род. 1913)

Выполненные Сергеем Владимировичем Михалковым переводы стихов Ю. Тувима для детей стали по числу и тиражу изданий одними из самых популярных произведений польской поэзии в СССР. В ряде случаев они сыграли роль и в переводе стихов Тувима на языки других народов нашей страны.

К. М. СИМОНОВ (род. 1915)

Публикуемые здесь переводы были сделаны Константином Михайловичем Симоновым для выпедшего вскоре после войны русского собрания стихотворений Юлиана Тувима («Избранное», Москва, 1946).

Б. А. СЛУЦКИЙ (род. 1919)

Борис Абрамович Слуцкий много сделал для знакомства советского читателя с польской поэзией. Он переводил стихи Ю. Словацкого, М. Конопницкой, Ю. Тувима, К. И. Галчинского, Т. Ружевича, С. Грохвяка и др.:

...Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами.

Наиболее важной и значительной в этом плане была для Б. Слуцкого работа над изданиями произведений В. Броневского. «Образ Броневского для меня неразрывен с образом польской поэзии и польской революции», — писал Слуцкий в предисловии к русскому изданию поэзии В. Броневского (1968).

Д. С. САМОЙЛОВ (род. 1920)

Давид Самойлович Самойлов перевел множество произведений самых разных польских поэтов начиная от Я. Кохановского до своих современников. В предисловии к сборнику его переводов П. Антокольский назвал Самойлова «мастером перевоплощения», и это прежде всего относится к его переводам из польской поэзии.

«Трениы» (1580) были написаны Кохановским на смерть его маленькой дочери Уршулы. Редкое по силе выражение отцовской скорби переплетается в них с философским переосмыслением проблемы человека, его жизни и смерти, проблемы гуманистического идеала.

Циприан Норвид (1821—1883) — один из величайших польских поэтов XIX века. Творчество его, новаторское по своему характеру, подчас весьма сложное и трудное по форме, связанное с освободительными стремлениями романтизма и одновременно отошедшее от многих его художественных принципов, не было оценено современниками. Норвид умер в эмиграции, в нищете и забвении, и лишь под конец века поэзия его была заново открыта и привлекла к себе внимание. В народной Польше Норвид впервые находит путь к широкому читателю, издан пятитомник его избранных произведений, начато издание полного собрания сочинений.

«Памяти Бема траурная рапсодия» — Бем Юзеф (1794—1850) — генерал, участник восстания 1830—1831 годов, во время венгерской революции 1848—1849 годов командующий одной из повстанческих армий.

Поэму «В и т С т в о ш», посвященную замечательному польскому скульптору XV века, автору прославленного резного алтаря в Марнацком костеле (Краков), Галчинский опубликовал в 1952 году.

Бруно Ясенский (1861—1939) — один из зачинателей польской революционно-пролетарской литературы межвоенного периода. Сначала он выступал в группе польских футуристов, но с середины 20-х годов отошел от футуризма и на первый план поставил в своем творчестве революционное содержание, выраженное в доступной и яркой форме.

«Слово о Якубе Шеле» (1926) — поэма, посвященная вождю крестьянского восстания в Галиции 1846 года.

Збигнев Герберт (род. 1924) — современный польский поэт, получивший известность и читательское признание во 2-й половине 50-х годов.

Б. Ш. ОКУДЖАВА (род. 1925)

Переводы из Ружевича сделаны Булатом Шаловичем Окуджавой для издания стихотворений польского поэта на русском языке («Беспокойство», Москва, 1963).

Тадеуш Ружевич (род. 1921) начал писать еще в период оккупации, когда участвовал в движении патриотического Сопротивления. Первые сборники («Беспокойство», «Красная перчатка») выпустил в 1947—1948 годах. Память о войне, о принесенных ею трагических событиях и переживаниях, беспокойство за судьбы мира, ощущение сложности и серьезности современных конфликтов стали доминирующими в его поэзии, насыщенной раздумьями, внутренней взволнованностью, подчас горечью.

Станислав **Гроховяк** (род. 1934) — современный польский поэт. Для поэзии его характерна насыщенность морально-философским содержанием, рефлексией, разнообразными ассоциациями.

Е. М. ВИНОКУРОВ (род. 1925)

Польская тема присутствует и в ряде оригинальных стихотворений Евгения Михайловича Винокурова (например, широко известна песня «В полях над Вислой сонной...»).

Винокуров переводил и стихотворения других современных поэтов (С. Р. Станде, А. Стерн).

В. Н. КОРНИЛОВ (род. 1928)

Владимир Николаевич Корнилов начал переводить польских поэтов в конце 50-х годов. Его переводы из М. Конопницкой появились в первом томе русского четырехтомного собрания сочинений польской писательницы (Москва, 1959), переводы из Галчинского — в сборнике 1967 года, переводы из Броневского — в русском издании 1968 года.

«О соловьиной жестокости». — *Ицек Гуткинд* — герой довоенного стихотворения Броневского «Луна с Павьей улицы». *Вальтер* — герой польского народа, участник гражданской войны в СССР и Испании, освобождения Польши от гитлеровской неволи, один из создателей Польского народного войска, генерал Кароль Сверчевский (Вальтер). Броневский посвятил ему поэму «Повесть о жизни и смерти Кароля Вальтера-Сверчевского, рабочего и генерала».

«Поцелуй Роберта Эммета». — *Роберт Эммет* (1778—1803) — ирландский революционер-демократ. Выступал за независимую ирландскую республику и демократические преобразования. Один из организаторов восстания 1803 года в Дублине против англо-ирландской унии 1801 года. После подавления восстания повешен англичанами.

Б. А. АХМАДУЛИНА (род. 1937)

Бела Ахатовна Ахмадулина перевела стихи М. Конопницкой для упомянутого выше издания сочинений польской поэтессы.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Б. Слуцкий.</i> Что искали в польской поэзии русские поэты	5
---	---

Польская лирика

И. И. Дмитриев

<i>Адам Мицкевич</i> Плавание	17
--	----

И. И. Козлов

<i>Адам Мицкевич</i> «Увы! Несчастлив тот, кто любит безнадежно...»	19
Буря	20
Пилигрим	21
Аю-Даг	22

П. А. Вяземский

<i>Игнаций Красицкий</i>	
Пастух и Овца	23
Орел и Ястреб	24
Осел и Баран	24
Мудрец	24

К. Ф. Рылеев

<i>Юлиан Урсын Немцевич</i>	
Глинский	26
<i>Адам Мицкевич</i>	
Воспоминания	33

А. С. Пушкин

<i>Адам Мицкевич</i>	
«Сто лет минуло, как тевтон...»	35
Будрыс и его сыновья	37
Воевода	37

В. Г. Бенедиктов

<i>Станислав Трембецкий</i>	
Воздушный шар	43
<i>Томаш Каеган Венгерский</i>	
Философ	46
<i>Адам Мицкевич</i>	
Данаиды	48
Гора Кикинеиз	49

К. К. Павлова

<i>Александр Ходзько</i>	
Литовская песня	51

М. Ю. Лермонтов

Адам Мицкевич

Вид гор из степей Козлова 53

А. А. Фет

Адам Мицкевич

Свитезянка 55

Дозор 62

Свидание в лесу 65

А. Н. Майков

Адам Мицкевич

Байдарская долина 66

Алушта днем 67

Алушта ночью 68

А. А. Григорьев

Адам Мицкевич

«Я ее не люблю, не люблю...» 69

Л. А. Мей

Адам Мицкевич

«Моя баловница...» 71

Юзеф Богдан Залеский

Две смерти 73

Зигмунт Красинский

«Спишь ты...» 75

Владислав Сырокомля

Кукла 76

А. Н. Плещеев

Владислав Сырокомля

Дума 79

М. Л. Михайлов

Адам Мицкевич

К польке-матери 81

Сон 83

Зигмунт Красинский

«От слез и крови...» 84

Л. Н. Трефолов

Юлиуш Словацкий

Песня изгнанника 85

Антоний Эдвард Одынец

Пленница 87

Владислав Сырокомля

Ямщик 90

Не я пою 93

Здравица 95

Мария Конопницкая

Призыв 99

В. Г. Короленко

Адам Мицкевич

Над водным простором... 101

С. Я. Надсон

Юлиуш Словацкий

Бедуин 103

А. П. Колтоновский

Мария Конопницкая

Стах 105

К. Д. Бальмонт

Адам Мицкевич

Забытый храм 107

<i>Юлиуш Словацкий</i>	
Мать	109
О несчастливая	109

И. А. Бунин

<i>Адам Мицкевич</i>	
Аккерманские степи	110
Алушта ночью	111
Чатырдаг	112
<i>Адам Аснык</i>	
«Без слов мы навсегда простились с то- бою...»	113
Геракл	114
Астры	116
Лилии	117

В. Я. Брюсов

<i>Адам Мицкевич</i>	
«Когда пролетных птиц несутся вере- ницы...»	119
<i>Юлиуш Словацкий</i>	
Гимн	120

Г. М. Кржижановский

<i>Вацлав Свенцицкий</i>	
Варшавянка	123
<i>Болеслав Червенский</i>	
Красное знамя	125

С. М. Городецкий

<i>Ян Каспрович</i>	
«Было поле, продала и поле...»	128
«Свет печурки в избушке мерцает...» . .	129

<i>Болеслав Лесьмян</i>	
Свидрига и Мидрига	130
В поле	134

С. Я. Маршак

<i>Стефан Витвицкий</i>	
Гулянка	136
<i>Юлиан Тувим</i>	
Знамя	138
Стол	139

Н. Н. Асеев

<i>Адам Мицкевич</i>	
Песня филаретов	141
Песня	144
<i>Юлиуш Словацкий</i>	
Гимн	146
<i>Юлиан Тувим</i>	
Муза, или Несколько слов	149
Камыши	150
Сирень	151
Ab urbe condita	152
<i>Владислав Броневский</i>	
14 апреля	156
Висла	157

А. А. Ахматова

<i>Юлиуш Словацкий</i>	
В альбом Марии Водзинской	160
В альбом Зофье Бобровой	161
<i>Юлиан Тувим</i>	
Счастье	163
Ты	164
Цыганская библия	164

Олень	166
Просьба о пустыне	166
<i>Владислав Броневский</i>	
Wagum?	168
Последнее стихотворение	169
Зеленое стихотворение	170
Счастье	171
<i>Мария Павликовская-Ясножевская</i>	
Пернатый	173
Ураган	174
Ника	174
Подсолнечник	174
Недоразумение	175
Смерть Кариатиды	175
Быть цветком?	177
Ива у дороги	177
<i>Вислава Шимборская</i>	
За вином	178
Б. Л. Пастернак	
<i>Юлиуш Словацкий</i>	
Песнь литовского легиона	180
Кулиг	183
Баллада пажа	188
<i>Болеслав Лесьмян</i>	
Сестре	191
<i>Владислав Броневский</i>	
Я и стихи	194
М. А. Зенкевич	
<i>Юлиуш Словацкий</i>	
Дума о Вацлаве Ржевуском	197
<i>Юлиан Тувим</i>	
Рубка берез	205

<i>Витольд Вандурский</i>	
Столярная	206
<i>Мечислав Яструн</i>	
Лодзь	208
<i>Станислав Ришард Добровольский</i>	
Историософия	210

М. И. Цветаева

<i>Юлиан Пшибось</i>	
Материк	212
Горизонт	213
Бегство	213
<i>Люциан Шенвальд</i>	
Рассвет	215

Э. Г. Багрицкий

<i>Адам Козьярский (Богдан Жираник)</i>	
Красный полк Варшавы	219

Н. С. Тихонов

<i>Мечислав Яструн</i>	
К Греции	221
Песнь Ярославны	222
Май	223
Погибшим	224

П. Г. Антокольский

<i>Адам Мицкевич</i>	
Памятник Петру Великому	226
Друзьям русским	229

И. Л. Сельвинский

<i>Юлиуш Словацкий</i>	
„Огненный ангел, слева стоящий...” . . .	231

Нет, я не прибегал к лекарствам и врачам..	232
<i>Юлиан Тувим</i>	
Commedia divina	233
О моем столе	233
Апрельская березка	234

А. А. Сурков

<i>Юлиан Тувим</i>	
Первое мая	236

М. В. Исаковский

<i>Польские народные песни</i>	
Уж раз уезжаешь	238
Рекрутская	239

В. А. Луговской

<i>Болеслав Лесьмян</i>	
Бессонница	241
<i>Леопольд Стафф</i>	
Знойный полдень	243
<i>Юлиан Тувим</i>	
Гимн лесу	244
<i>Ярослав Ивашкевич</i>	
Пейзаж Хелмонского	246
<i>Ян Бжехва</i>	
Соловьинная улица	248

М. С. Голодный

<i>Юлиан Тувим</i>	
Ночь бедняка	250
<i>Владислав Броневский</i>	
Моя земля	252

М. А. Светлов

<i>Юлиан Тувим</i>	
Театральный гардероб	254
<i>Владислав Броневский</i>	
К поэзии	257
<i>Ярослав Ивашкевич</i>	
Из цикла «Свиток осени»	259

Е. А. Благинина

<i>Теофиль Ленартович</i>	
Тассо	260
<i>Мария Конопницкая</i>	
«Этот плуг, соха и поле...»	262
<i>Ян Каспрович</i>	
Сиротливые мокнут ели...	263
<i>Леопольд Стафф</i>	
Осенний закат	264
<i>Казимира Иллакович</i>	
Расставание	265

Л. Н. Мартынов

<i>Ян Кохановский</i>	
Песня	266
Песня	267
Девке	268
<i>Болеслав Лесьмян</i>	
Превращения	270
<i>Юлиан Тувим</i>	
Зелень	272
<i>Юзеф Чехович</i>	
Траурная молитва	279

<i>Константы Ильдефонс Галчинский</i>	
Сон пса	281

С. И. Кирсанов

<i>Мечислав Романовский</i>	
Польские стяги в Кремле	283
<i>Юлиан Тувим</i>	
Пляшущий Сократ	285
<i>Владислав Броневский</i>	
Поклон Октябрьской революции	289
<i>Станислав Ришард Станде</i>	
Демонстрация	291

Д. Б. Кедрин

<i>Адам Мицкевич</i>	
Пани Твардовская	293

М. С. Петровых

<i>Болеслав Лесьмян</i>	
На солнце	299
Солдат	300
<i>Юлиан Тувим</i>	
Квартира	304
Ветерок	305
<i>Константы Ильдефонс Галчинский</i>	
Спящая девочка	306
Сани	306

С. В. Михалков

<i>Юлиан Тувим</i>	
Янек	310
Птичье радио	311

Азбука	313
Овощи	314

К. М. Симонов

Юлиан Тувим

Я крохи юности собрал...	316
Опечатка	317

Б. А. Слуцкий

Юлиуш Словацкий

Успокоение	318
----------------------	-----

Владислав Броневский

Что мне грустить!	323
Тела	325
Дуб	326

Константы Ильдефонс Галчинский

Инга Барч	328
---------------------	-----

Д. С. Самойлов

Ян Кохановский

Трен	333
----------------	-----

Циприан Норвид

Памяти Бема траурная рапсодия	335
---	-----

Юлиан Тувим

Парикмахеры	338
Одиссей	340

Константы Ильдефонс Галчинский

Мастер любил улицу	343
------------------------------	-----

Бруно Ясенский

Слово о Якубе Шеле	346
------------------------------	-----

Збигнев Герберт

Естественник	349
------------------------	-----

Б. Ш. Окуджава

<i>Тадеуш Ружевич</i>	
Завеса	352
<i>Станислав Гроховяк</i>	
Лев	356
Грудь королевы выточена из дерева . .	357

Е. М. Винокуров

<i>Тадеуш Ружевич</i>	
Новое солнце	358
Каштан	359
Кого здесь нет	361

В. Н. Корнилов

<i>Циприан Норвид</i>	
Времена	362
<i>Мария Конопницкая</i>	
Поцелуй Роберта Эммета	363
<i>Владислав Броневский</i>	
Последний клич	365
О соловьиной жестокости	366
<i>Константы Ильдефонс Галчинский</i>	
Фарландия	369

Б. А. Ахмадулина

<i>Мария Конопницкая</i>	
В городишке	371
Закат во Фьезоле	374
<i>Примечания</i>	377

Сборник
Польская лирика

Редактор Ю. Живова
Художественный редактор
Д. Ермоленко
Технический редактор
Л. Заселяева
Корректор М. Доценко

Сдано в набор 4/IV 1969 г. Подписа-
но в печать 26/IX 1969 г. Бумага
типогр. № 1. 70×90¹/₃₂. 13,5 печ. л.
18,9 усл. печ. л. 11,472 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 574.
Цена 55 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 1 «Пе-
чатный Двор» им. А. М. Горького
Главполиграфпрома Комитета по пе-
чати при Совете Министров СССР,
г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.